ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

№ 2 (13), 2006

ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ТОПОС

ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ **ЖУРНАЛ**

ТОПОС №2 (13), **2006**

ISSN 1815-0047

Адрес редакции и издателя:
Европейский гуманитарный университет
Kražiu str. 25, LT-01108
Vilnius Lithuania
E-mail: office@ehu-international.org

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «MyslNarrowC».
Усл. печ. л. 13,2. Тираж 299 экз.
Отпечатано: «Petro Ofsetas»
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Адрес редколлегии:
t_shchyttsova@mail.ru

Информация о журнале размещена на сайте:
http://topos.ehu-international.org

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫБОР И ВЫБОРЫ

ВЫБОРЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: СЛУЧАЙ БЕЛАРУСИ

Ольга Шпарага

Думаю, вопрос о том, состоялись ли выборы президента в Беларуси, для способных мыслить критически является риторическим. Однако это не отменяет другого вопроса – вопроса о системе координат, которая позволяет нам оценивать «выборы» или какие-либо другие политические события и процессы, имеющие место в нашей стране.

Одной из таких «систем координат» могла бы быть, на мой взгляд, *культура прав человека*. Неслучайно понятие *прав человека* оказалось одним из центральных в ходе обсуждения мартовских политических событий. В этой связи мне представляется принципиально важным обсудить состояние *культуры прав человека* в Беларуси, а также обратиться к генезису этой культуры на Западе. Исходя из этого, в первой части текста я остановлюсь на *первом поколении прав человека*, напрямую связанных с либеральным дискурсом. Во второй части я обращусь к анализу трансформации культуры прав человека (в XIX и XX вв.) под влиянием *второго поколения прав человека* – как они рассматривались социалистами, какую роль играли в социальной и политической системе СССР, наконец, какое место занимают в сегодняшней Беларуси.

Читателю может показаться, что собственно понятие *выборов* в этом тексте уходит на второй план. Что, на мой взгляд, и отражает ситуацию в Беларуси – ситуацию неразвитой и подавляемой государством *культуры прав человека*. С другой стороны, не стоит упускать из виду, что именно *ситуация с выборами* позволила нам увидеть или даже пережить эффекты подавления культуры прав человека, а следовательно, по-настоящему оценить значимость этой культуры и, как я надеюсь, более активно и креативно включиться в ее утверждение.

1. Первое поколение прав человека и вопрос о свободе

Право избирать и быть избранным является, согласно Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г., важнейшим политическим правом людей участвовать в управлении своей страной. Беларусь как член ООН обязана соблюдать права человека, как и признавать, что вопросы, связанные с ними, не относятся к числу исключительно внутренних дел государства. Политические права, наряду с гражданскими правами, принадлежат к *первому поколению* прав человека и берут свое начало в либеральных теориях *естественных прав* XVII–XVIII вв. Эти права обозначаются также *негативными*, поскольку с момента

формулировки *Дж. Локком* (1632–1704) выражают *свободу от* вмешательства государства в экономические отношения и вопросы веры и совести. В сегодняшних интерпретациях теории *естественных прав* отмечается, что эта теория отвергла все признаваемые ранее теории легитимности – божественные права королей, прагматическую необходимость стабильного политического устройства, подчинение божественному праву, исторически укорененные институциональные традиции. С точки зрения теории естественных прав «политический режим находил оправдание только в том случае, если он удовлетворял естественные права своих граждан»[1].

Дж. Локк совершенно недвусмысленно формулирует гражданские и политические права: «Для правильного понимания политической власти и определения источников ее возникновения мы должны рассмотреть, в каком естественном состоянии находятся все люди, а это состояние – *состояние полной свободы* в отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуществом и личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим для себя в границах закона природы, не испрашивая разрешения у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли»[2]. Рассмотрим формулировку Локка более подробно.

Прежде всего, обращают на себя внимание понятия «естественного состояния», «состояния полной свободы» и «закона природы». Чуть дальше в тексте Локк поясняет связь естественного состояния и закона природы. *«Естественное состояние* имеет закон природы, которым оно управляется и который обязателен для каждого», этим законом выступает *разум*. Разум, далее, дарован всем без исключения людям Богом, на основании чего люди и провозглашаются *равными* – равными без какого-либо подчинения или подавления. Однако это еще не все. Разум, согласно Локку, дает каждому человеку неограниченную *свободу распоряжаться своей личностью и собственностью*, оборотной стороной чего является требование самосохранения, или запрет на уничтожение себя, как и требование насколько это возможно сохранять «остальную часть человечества», т. е. жизнь, здоровье, свободу и собственность других людей. Иначе говоря, право на распоряжение самим собой есть также право на неприкосновенность всякого другого человека, если таковой не является преступником, которого я, как исполнитель закона природы, вправе наказать.

Таким образом, в понимании Локка, фундаментальные права людей на их собственную жизнь и свободу действий являются одновременно и обязательствами, не позволяющими людям лишать самих себя и других, пока те не преступают закона природы, жизни и свободы. Данная формулировка не меняется и в том случае, если мы рассматриваем *общество*, которое Локк обозначает *гражданским* – обществом договаривающихся друг с другом граждан, отличным от *государства,* прежде всего связанного с законодательной деятельностью, придающей с нашего согласия договору общезначимый символический порядок. Согласно Локку, свобода человека в обществе – это неподчинение никакой другой власти, кроме *законодательной*, «которая

установлена по согласию в государстве»[3]; это жизнь в соответствии с постоянным и общим для всех членов общества *законом*.

Переход от естественного состояния к жизни в обществе обусловлен, согласно Локку, целым рядом причин. Важнейшей является недостаточность самого по себе природного закона для установления норм справедливой жизни и справедливого разрешения разногласий, поскольку, хотя «закон природы ясен и понятен всем разумным существам, люди руководствуются своими интересами»; с другой стороны, наличие этого закона не означает еще знания его и действия в соответствии с ним. Таким образом, если в естественном состоянии мы реализуем свою свободу, следуя закону природы, то внутри общества свобода означает следование общественным законам, которые устанавливаются с нашего согласия и защищают нас от «непостоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека». Именно общественный закон способен защитить нас от абсолютной, деспотической власти.

Первое, что важно отметить и на что обращают внимание интерпретаторы теории естественных прав Локка, это утверждение права человека на *автономию*. Человек – его мысли, действия, желания, собственность – принадлежит самому себе, и никто не в праве лишить его самого себя. Более того, так как человек живет в кругу других людей, то он приходит к идее заключения соглашения, которое позволило бы *установить нормы или законы* справедливой совместной жизни с другими. Такие нормы не являются чем-то противоречащим естественной разумности человека, скорее, наоборот, они выводят эту разумность на свет и позволяют людям жить в соответствии с ней. Только придание нормативного статуса естественному состоянию позволяет закрепить и сделать очевидным для всех природное равенство людей и, следовательно, их равенство в праве иметь права (Арендт) и справедливым образом разрешать споры.

Второе, что принципиально важно для генезиса прав человека, это вопрос об их обеспечении. С одной стороны, гарантией обеспечения прав любого человека является равенство перед законом и независимым судом, с другой – само это равенство конкретизируется Локком как свобода от «произвола другого человека», т. е. от деспотической власти. Любой правитель, отмечает Локк, является в плане своих прав и обязанностей таким же человеком, как и я, поэтому я, с одной стороны, свободен от него в своей автономии, с другой – вместе с ним ограничен законом в своих посягательствах на свободу других или свободы гражданского общества в целом. Члены общества имеют право устранить или заменить правителя (законодательный орган), пренебрегающего законом или действующего вопреки оказанному ему доверию. В этом смысле, именно *гражданскому обществу* принадлежит верховенство власти, направленной на сохранение общества и каждого его члена, в то время как *государство* является «доверенной властью».

Итак, в рамках модели «конституционного государства» Локка[4] было предложено первое развернутое представление о *гражданских*

правах, выступающих отправной точкой в достижении справедливой общественной жизни. Именно Локк положил начало формированию представления о *гражданине* как активном члене общества, отношение которого с государством определяется не через отношение части и целого, а через *свободу* – доверие и договор граждан, определяющих и ограничивающих функции государства.[5] В версии Локка *свобода* понимается как свобода распоряжаться своей личностью и собственностью и одновременно как свобода от своеволия другого человека (естественное состояние) или государственной власти (общественное состояние). Для обеспечения свободы необходимо, в таком случае, участие в жизни гражданского общества: выбор законодательной, исполнительной и судебной властей, а также контроль над соблюдением этими властями оказанного доверия. Таким образом, гражданские права с необходимостью сосуществуют с *политическими правами*, выражающими права и обязательства участия людей в управлении государством. Связь гражданских прав с политическими принципиальна: именно право равного участия в управлении государством может обеспечить защиту гражданских прав и достижение общего блага, выступая преградой на пути деспотии – своеволия привилегированных представителей власти.

Понятие свободы оказывается в данной трактовке синонимом *личной ответственности* как за свою собственную судьбу, так и судьбу общества, в котором ты живешь, поскольку, как сказала бы Арендт, человек существует во множественном числе и способен регулировать свои отношения с другими людьми. Отношение между «своей собственной судьбой» и обществом остается при этом открытым и дискутируемым, поскольку «общество» предполагает «других людей», способных ограничить мою свободу. В связи с этим Р. Арон видит в либеральном определении свободы *неопределенность*, которая приводит к выдвижению на передний план именно *политического* измерения: «Свобода-независимость, которую Монтескье называет безопасностью или отсутствием произвола, реально существует только как чисто политическая свобода и проявляется в участии гражданина в управлении местными делами и руководстве общественной деятельностью»[6]. Из этого следует, повторимся еще раз, что гражданские свободы мыслимы исключительно в связке с политическими; содержательно же это означает, что право на собственную жизнь само обретается и реализуется только как право участия в организации общественной жизни и управлении государством. Понятным становится и дальнейшее расширение: при создании американской *Декларации независимости США* (1776) и французской *Декларации прав человека и гражданина* (1789) – одновременно расширение перечня основных *гражданских* – включение в их число свободы слова и вероисповедания, безопасности и свободы от угнетения – и *политических* – заявление о предоставлении равного доступа «ко всем постам, публичным должностям и занятиям» (что относилось, конечно же, к гражданам мужского пола) – *прав*[7]. Реализация права на свободу в отношении самого себя нуждается в артикуляции, невозможной без

свободы слова, которая требует дальнейшей институализации общества — равного доступа к публичным должностям и занятиям, главным механизмом обеспечения которого и становятся *выборы*.

2. Конфликт первого и второго поколений прав человека: история вопроса, ситуация в СССР, ситуация в современной Беларуси

Один из вопросов, возникающих применительно к идее и практике гражданских и политических прав человека, — это вопрос о зависимости или даже производности этих прав от *либерального дискурса*, фрагменты которого были представлены выше в версии Локка. С одной стороны, теоретиками прав человека сегодня признается, что, «несмотря на то что права человека охватывают всех, что это всеобщие права, больше нет необходимости считать их естественными правами. Достаточным основанием для их всеобщей применимости является уже тот факт, что они были определены в результате международных переговоров»[8]. Из этого также следует, что права человека не имеют сегодня привязки к отдельным государствам, а являются прерогативой международного сообщества. С другой стороны, все же достаточно трудно не принимать во внимание связь и преемственность традиционной и современной теорий прав человека. Очевидно, что более чем 300-летняя дискуссия и борьба за гражданские и политические права человека в Европе играют не последнюю роль для актуального обсуждения и отстаивания этих прав.

В Беларуси в этой связи мы сталкиваемся с ситуацией, которая во многом остается зависимой от советского прошлого. Эту зависимость можно охарактеризовать двояко: с одной стороны, можно констатировать неразвитость гражданского и правового сознания, или элементарное незнакомство граждан Беларуси со своими правами, с другой — сопровождающий это незнание отказ (или, скорее, принуждение к отказу со стороны власти) от гражданских и политических прав в пользу прав *социальных*. Для прояснения данной ситуации необходим небольшой экскурс в понятие *социальных прав*, представляющих *второе поколение прав человека* и привносящих дополнительные сложности в трактовку прав человека как таковых.

Социальные права выходят на арену истории в период промышленной революции XIX в. и артикулируются Марксом и другими теоретиками социализма. К важнейшим социальным правам относятся права на пищу, жилище, труд, охрану здоровья и досуг. Возникновение этих прав напрямую связано с описываемым Марксом зарождением нового класса пролетариата, который заявлял о своих правах буржуазии, как когда-то, 200 лет назад, это делала сама зарождающаяся буржуазия, отвоевывая права у аристократии.

И все же притязание на права рабочих отличалось от притязания на права буржуазии. Если главной идеей, отстаиваемой буржуазией, была идея участия на основе автономии, т. е. в силу способности разумного принятия решений прежде всего за свою собственную судьбу,

в управлении обществом, то главной идеей пролетариата стала идея упразднения самой автономии, поскольку таковая в конечном итоге порождает экономическое или социальное неравенство. Либеральные свободы провозглашались пустой иллюзией для тех, кто лишен самого необходимого. Препорученность человека самому себе и частная собственность – высшие ценности либералов – объявлялись главным препятствием на пути обеспечения равных социальных прав, из чего следовало, что не сами конкретные индивиды, а только государство способно разрешать общественные конфликты, главный из которых – конфликт труда и капитала.[9]

Данное противоречие между гражданскими и политическими правами, с одной стороны, и социальными – с другой, имеет длительную и неоднозначную традицию интерпретации, презентация и анализ которой требует написания отдельной статьи. Для нас важно обратить внимание на то, что именно на обеспечение социальных прав делалась ставка в СССР – при полном игнорировании гражданских и политических прав. Как отмечает в своей статье Е. Богданова, «в советской Конституции были записаны основные права граждан, но при этом подразумевался принцип абсолютного доминирования государства и его интересов над личностью. Формальные нормы не действовали так, как это было предписано законом; основанием к действию часто становились инструкции, спущенные сверху. Граждане не были информированы о своих правах, вследствие чего большинство из них, за исключением универсальных "права на отдых" и "права на труд", были неизвестны ни государственным чиновникам, ни населению»[10].

Механизмом, который препятствовал притязанию на гражданские и политические права людей, согласно Богдановой, был механизм «заботы» советского государства о своих гражданах. Работал этот механизм как через средства массовой информации, так и через самые разные формы «проявления заботы» в трудовых коллективах. Такая «забота» предполагала «проявление "заботы" обо всех и обо всем кроме самого себя и своих личных проблем. Другими словами, советский гражданин был обязан проявлять "заботу" по отношению к другим, но не мог сделать это по отношению к себе». Плоды такой политики хорошо знакомы нам и сегодня: они приводят к полной неготовности и неспособности человека решать свои собственные проблемы. Поскольку «в рамках возникшей за десятилетия существования советского общества концепции правовых отношений гражданину были предписаны слабость, некомпетентность и беспомощность, ему, тем самым, уготована участь быть объектом чьей-либо "заботы". При этом самостоятельные действия, целью которых могло быть решение индивидуальных правовых проблем, не приветствовались: осуществление защиты прав и интересов реализовывалось посредством обращения к более компетентному и сильному агенту с просьбой "позаботиться"».

И все же проводить параллель между ситуацией XIX века в Европе и ситуацией, возникшей в результате Октябрьской революции, необходимо с определенными оговорками. Согласно Марксу, рево-

люция пролетариата как революция четвертого сословия должна была стать продолжением и завершением революции буржуа, или революции третьего сословия.[11] В результате должно возникнуть новое общество-государство, преодолевающее, с одной стороны, буржуазное гражданское общество, с другой – обслуживающий его государственный аппарат, и выступающее в итоге ареной разрешения всех социальных конфликтов. В Европе ожидания Маркса не оправдались в том смысле, что борьба за социальные права, прежде всего в форме рабочих движений и профсоюзов, не отменила гражданское общество, а обогатила его новыми механизмами контроля над деятельностью государства.[12] Иными словами, социальные права – пусть и не самым непосредственным образом – дополнили гражданские и политические права, открыв новые возможности артикуляции социальных конфликтов.

Иная ситуация наблюдалась в СССР: социальные права подменили собой гражданские и политически права, в результате чего государство вобрало в себя общество. Однако и в этом случае не возник тот результат, которого ожидал Маркс: новое советское государство породило новую систему социального неравенства, в которой «права» даровались тем, кто был лоялен по отношению к обществу-государству. Власть, словами К. Лефора, *жаловала*, даровала выгоды от своего «закона».[13] Социальное разделение «определялось тут не собственностью, а прямым доступом к властным механизмам и привилегированными материальными и культурными жизненными условиями (пища, жилище, здравоохранение, свобода путешествовать, образование»).[14] Всякий, кто был лишен «права доступа», либо жил в иллюзорном мире пропаганды, которая задавала стандарты и нормы его жизни, либо становился изгоем – в самом ли СССР или за его пределами.

Отношение между гражданскими и политическими правами, с одной стороны, и социальными и экономическими – с другой, ряд авторов рассматривает как отношение *права иметь права* и *обеспечения* прав (Дарендорф), или как отношение *формальных* и *позитивных прав* (Арон). Такая постановка вопроса требует, однако, изменения взгляда на классификацию субъектов права – отказа от марксистской классификации. В версии Дарендорфа, буржуазия, с критикой которой выступил пролетариат, была, прежде всего, не классом собственников (bourgeois), а *жителями городов* (citoyen), отличных от сельских феодальных структур и восходящих к античным городам-государствам.[15] Новые жители городов, в особенности в период становления наций-государств, вынуждены бороться за свои права участия в политической жизни города независимо от происхождения и социального положения, которое они «оставили» в деревнях. В результате на смену «мира статуса» пришел «мир договора», который, действительно, в определенный момент привел к росту благосостояния жителей городов и социальному неравенству, сделавшему проблематичным и недостаточным политическое и гражданское равенство. Иначе говоря, в версии Дарендорфа социальный конфликт как основной механизм со-

циальной и политической динамики приобрел новое качество — борьбу за верховенство закона, перед которым равны все.

Таким образом понятая борьба за гражданские права позволяет иначе взглянуть на следующий период истории — период промышленной революции XIX в. Формулировка гражданских и политических прав была формулировкой самой возможности *выбора*, распространенной на всех граждан государства. XIX век отчетливо показал, что, несмотря на декларацию формального равенства выбора, *выбираемые предметы*, или *возможности обеспечения прав*, могут разниться настолько, что в определенных случаях ставится под вопрос сам выбор. С данной ситуацией мы столкнулись в первые годы «перестройки», когда изобилие товаров оказалось фактически недоступным для определенных групп населения. На воспоминаниях об этом времени держится во многом и нынешний белорусский режим, который заменил *право выбора обеспечением,* диапазон и возможности которого задаются самой властью. Тем самым, однако, как и в советское время, проблема выбора не устраняется, а становится абсолютной прерогативой государства, что возвращает нас в ситуацию, с которой некогда столкнулся Локк, — к ситуации никак не ограниченной опасности тирании.

Означает ли это, что выбор между *правом иметь права* и *обеспечением прав* неизбежен? Согласно Дарендорфу, нет. Вернее, демократическое общество предполагает различение этих сфер и нахождение — прежде всего силами общественности, оказывающей давление на государство, — баланса между ними; в то время как диктатура, стирая различие между этими сферами, ставит общество перед постоянно грозящей опасностью кризиса обеспечения, лишая нас возможности взять на себя ответственность за выбор — как своей собственной судьбы, так и судьбы своей страны.

Из написанного выше следует, что выбор между политическими и гражданскими правами, с одной стороны, и социальными и экономическими правами — с другой, является псевдопроблемой. Так как именно обладание гражданскими и политическими правами делает возможной саму *борьбу за права*, в том числе социальные. Словами Лефора, именно «формальные свободы сделали возможными требования, которые могли сделать лучше условия жизни людей»[16], поскольку именно первые свободы — право на публичную критику власти, на забастовку, права ассоциаций — позволили артикулировать и заявить о себе многообразному обществу, никогда не совпадающему с его виденьем государственной властью. Проблематичным или даже невозможным в таком случае является переход от социальных и экономических прав к политическим и гражданским правам, поскольку «партия социальных прав», в лице ли государства или международных корпораций, будет делать все возможное, чтобы осуществляемое «обеспечение» не превратилось в открытую для публичного обсуждения систему прав гражданского общества.

Для Беларуси это означает, что никакое ухудшение социального и экономического положения само по себе, т. е. без параллельного формирования культуры гражданских и политических прав, не обеспечит демократических преобразований. Не означает это и обратного, что формирование гражданского общества должно исключить борьбу за социальные и экономические права. Эффективность современного гражданского общества в большой степени зависит от *артикулированности его предельного многообразия*, отражающего права самых разных индивидов и групп населения. Поскольку любая, не затронутая процессами по присвоению и отстаиванию своих прав группа, например пенсионеры и инвалиды, автоматически окажется в лагере «сильной и единоличной власти», которая, как известно, не столько отстаивает права группы, сколько средствами пропаганды и экономического манипулирования задает ее место в социальной системе, оценка, критика и изменение которого исключены. В отличие от классиков либерализма, нам необходимо понять, что в посттоталитарном и тем более тоталитарном обществах далеко не всякий человек способен присвоить свои права, а затем бороться за них, что, однако, не означает, что только государство должно решать его проблемы. Между свободными личностями и тотальной заботой государства лежит многообразие переходных форм, обсуждение и утверждение которых и является сегодня центральной темой демократизации Беларуси.

Для осмысления *политических выборов* это означает, что важнейшей работой их непосредственных участников – партий и независимых кандидатов, как и самых разных представителей гражданского общества, – является работа по артикуляции всего многообразия интересов, представлений и требований белорусских избирателей с целью учета и выражения их в своих программах и своей деятельности. При этом нужно быть готовым к тому, что ряд граждан, особенно зависимых от «заботы государства», так и не сможет присвоить и начать отстаивать свои права. В таком случае гражданскому обществу придется взять на себя их *обеспечение*. Иначе говоря, демократизация Беларуси зависит не только от утверждения и расширения сферы гражданских и политических прав, но и от выработки механизмов обеспечения тех, для кого эта сфера – в силу вполне объяснимых обстоятельств – останется закрытой.

Примечания

1 Сидорски Д. *Современная реинтерпретация понятия прав человека* // Право быть человеком: Материалы из книги *Международные права человека в контексте права, политики, морали*. Оксфорд 1996. Мн., 2000. С. 10.

2 Локк Дж. *Два трактата о правлении*. Соч. в 3-х тт. Т. 3. М., 1988. С. 263.

3 Там же. С. 274.

4 Ср.: Кин Дж. *Демократия и гражданское общество*. М., 2001. С. 87–91.

5 Ср.: Дарендорф Р. *Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы*. М., 2002. С. 48.

6 Арон Р. *Эссе о свободах*. М., 2005. С. 17.

7 Цит. по: *Введение в права человека. Норвежский хельсинский комитет по правам человека.* Осло, 2003. С. 44.

8 Там же. С. 16.

9 Ср., например: *Введение в права человека...* С. 46.

10 Богданова Е. *Советская традиция правовой защиты, или В ожидании заботы // НЗ*, № 39 (1/2005): http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=25011328

11 Ср.: Арон Р. Цит. соч. С. 32.

12 Стоит иметь в виду, что предложенная мной версия отношения первого и второго поколений прав является более сложной. Ср., к примеру, размышления К. Лефора на этот счет в статье *Права человека и провиденциальное государство.* (Лефор К. *Политические очерки: XIX–XX вв.* М., 2000. С. 31–63.)

13 Лефор К. *Политические очерки: XIX–XX вв.* М., 2000. С. 54.

14 Жижек С. *13 опытов о Ленине.* М., 2003. С. 174.

15 Ср.: Дарендорф Р. *Современный социальный конфликт...* С. 45 и далее.

16 Лефор К. Цит. соч. С. 57.

«ВЛАСТЬ НАРОДА»: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕМОКРАТИИ И БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ «НАРОДОВЛАСТИЯ»

Владимир Фурс

В выступлении «Внешняя политика Республики Беларусь в новом мире» (22. 07. 04) А. Г. Лукашенко дал замечательно емкую характеристику официальной белорусской «реальности»: «суверенная, процветающая, демократическая по своим, а не по чужим рецептам Беларусь». Здесь схвачена самая суть, хотя, конечно, лаконичность формулировки требует поясняющего комментария. Вообще говоря, экспликация специфического значения слов «суверенитет» и «процветание» в процитированной фразе представляется интересной и важной задачей. Но особую актуальность в связи с недавно прошедшими президентскими выборами приобретает прояснение своеобразия официальной модели народовластия относительно современных представлений о демократии, значимых и за пределами Беларуси.

Ясно, что демократия – это одновременно нормативное и эмпирическое понятие: нормативная идея демократии осуществляется в большей или меньшей степени, но никогда – полностью; поэтому, в частности, нет и не может быть стран, являющихся ее воплощенным образцом. И сама идея демократии не является вневременной: ведь модерные общества устроены существенно иначе, чем древнегреческие гражданские общины. От греков – «изобретателей демократии» – современное понимание наследует лишь общую формальную характеристику, которую именно в силу ее формальности можно, пожалуй, считать трансисторическим архетипом демократии: *принцип автономии политического сообщества*. Древнегреческая демократия стала историческим прообразом проекта автономии, получившего всемирно-историческое распространение. Как подчеркивает Корнелиус Касториадис, автономия состоит не в действии согласно всеобщему и неизменному моральному закону, наподобие кантовского категорического императива. Автономия – это рефлексивное полагание обществом законов своего существования. Такое полагание никогда не является полным и всеобъемлющим, оно всегда имеет характер проекта, осуществимого лишь частично, но, в любом случае, оно предполагает радикальную постановку под вопрос наличной (устоявшейся, установленной) общественной формы и способность формирующей коллективной самодеятельности. Демократия – это не один из видов политического режима, а проект, нацеленный на достижение политической рефлексивности общества, а значит, на превращение системы публичной власти в прозрачную и обдуманную коллективную самодеятельность, объектом которой

являются наличные общественные формы.[1] Этот проект реализовывался в разных исторических контекстах, и его содержание изменялось соответственно исторически изменчивому устройству политических сообществ.

Современное понимание идеи демократии сформировалось применительно к политическим сообществам модерного типа, для понимания специфики которых важно преодолеть влияние идеализации классического древнегреческого полиса на наше политическое мышление. Использование термина «сообщество» может быть дезориентирующим, если при этом игнорируется различие между локальными социальными сетями, основанными на взаимодействии лицом к лицу, и крупномасштабными социетальными образованиями типа нации, состоящими из культурно подобных индивидов и зависящими от рынка и других форм системной интеграции.[2] Вся гражданская община могла общаться лицом к лицу на небольшой площади, но в сложных модерных обществах, представляющих собой образования большого масштаба, политическая жизнь уже не может строиться на общинных основаниях. Политическое сообщество состоит из «чужаков» — лично не связанных и, как правило, вообще не знакомых друг с другом самостоятельных индивидуумов, а чувство идентичности с большими массами удаленных и преимущественно анонимных других членов сообщества поддерживается медийно опосредованной коммуникацией.

Модерные политические сообщества характеризуются особым опытом времени, особой темпоральностью: утрачивается направляющая сила традиции, неустойчивое настоящее ориентировано в неясное будущее, полное как возможностей, так и опасностей. Индивиды, освобожденные от уз традиционной социальности, становятся хозяевами собственной судьбы, они сообща устанавливают для себя законы, тем самым самостоятельно формируя уклад своей жизни. Идея автономии, самозаконодательства, здесь имеет двойной смысл индивидуальной самореализации и коллективного самоопределения. Демократическая политическая практика является выражением свободы, коренящейся в субъективности индивидуума и народном суверенитете.

Однако *сложный характер модерных политических сообществ порождает и воспроизводит напряжения в самой идее демократии.*[3] Во-первых, это *напряжение между двумя аспектами автономии* — самореализацией индивидуума и самоопределением политического сообщества как единого целого, — которое оборачивается рассогласованностью фундаментальных принципов свободы и равенства и проявляется также как проблема сочетания единства политической воли с гражданским плюрализмом, власти большинства с правами меньшинства и т. п. Эгалитаристское представление о верховенстве единой народной воли имеет своей теневой стороной то, что частные воли граждан в их многообразии и разнородности игнорируются или подавляются. А либеральное представление о приоритете прав человека перед волей большинства оборачивается узко негативной трактовкой

политической свободы как «свободы от» и проблематичностью общих целей.

Во-вторых, существование сообщества предполагает ориентацию на общее благо, значимое для всех и определенное при участии всех, предполагает узы социальной солидарности и интеграцию посредством достижения взаимопонимания. Однако сложная организация модерных обществ обусловливает их коммуникативную непрозрачность, эти общества интегрированы в значительной степени системными механизмами. Поэтому политическое сообщество не может строиться как добровольная ассоциация, в которой цель объединения еще не была бы функционально обособлена от целей и ценностных ориентаций ее членов. *Реализация автономии политического сообщества неизбежно осложняется аппаратным опосредованием*, что чревато самодовлением аппарата и бюрократической инструментализацией политики: бюрократическая рациональность подменяет осуществление политической свободы эффективностью управления.

В-третьих, имеется *неравенство демократии себе самой*, связанное с темпоральной организацией модерных обществ. Демократия представляет собой не только нечто наличное, но и проект, раскрытый в будущее, которое не предопределено. «Налично существующая демократия» дестабилизируется нормативным горизонтом «подлинной демократии». Неизбывным является напряжение между универсалистским притязанием демократии и ее всегда частичным содержанием: быть для кого-то демократией, предполагающей исключение и обделение других. Критика существующей демократии как маскировки классового (расового, гендерного) неравенства вызывает к жизни проекты «радикализации демократии». И если эти проекты утопичны (как, например, проект демократической самоорганизации общества трудящихся), то, с другой стороны, любая наличная форма представляет собой «недодемократию» в том или ином смысле.

Эти внутренние напряжения и рассогласованности в идее демократии свидетельствуют о крайней наивности ее привычного «этимологического» определения: «власть народа» говорит о сущности демократии не больше, чем «любовь к мудрости» о сущности философии. Народ-суверен не есть некое существо «высшего порядка», субъект деятельности, наделенный волей и сознанием. *Субстанциализация «народа» нивелирует сложность организации модерных политических сообществ и является научно ошибочной и дезориентирующей в практико-политическом плане*. Тем более что в последние десятилетия эта исходная и уже хорошо освоенная в политической мысли сложность возросла настолько, что впору говорить скорее о «сверхсложности»: произошло расширение политического за пределы сферы политики в конвенциональном смысле, то есть относительно обособленной подсистемы в рамках нации-государства. Во-первых, глубокие социально-культурные трансформации в западных обществах на рубеже 1960–70-х гг. обернулись расцветом «новых социальных движений», практикующих неконвенциональное политическое действие вне устоявшихся рамок представительства. Как отмечает Ален Турэн, соци-

альные движения борются за придание общественной формы определенным культурным ориентациям, отличающимся от доминирующих в обществе. Ставкой в их борьбе является не распределение материальных благ, а общественная историчность.

Во-вторых, процессы глобализации, чрезвычайно ускорившиеся в 1990-х, привели к образованию транснационального измерения социальной жизни поверх территориально-государственных границ. Новое состояние глобальности породило надежду на становление единого «мирового общества», наконец-то преодолевающего разобщенность человечества. А в качестве адекватной политической формы «мирового общества» представлялась «космополитическая демократия»[4]. Увы, прекрасные мечты развеялись от столкновения с теневой стороной глобализации, которая, как оказалось, не только объединяет и открывает небывалые возможности, но также разъединяет и образует новые иерархии. Глобализация – это не объединение территориальных обществ в согласованно функционирующую систему всемирного масштаба, а усиление глобальной взаимосвязи разнородного. Поэтому реальность глобализации – это новый мировой беспорядок, производимый несогласованной динамикой и зачастую конфликтным взаимодействием множества разнородных политических тел.

Вопреки ожиданиям 1990-х, глобализация не разрушила рамки территориальных государств, более того, последние сумели немало отыграть у транснациональных потоков (финансов, товаров, технологий, людей, идей и образов), вводя и усиливая контроль над ними. Нация-государство и ныне остается основной организующей формой социальной жизни и политического процесса, однако национальное политическое пространство становится еще более сложным и разнородным как вследствие политизации культурных различий, так и того, что оно перекрывается транснациональными акторами (наднациональными организациями и НПО). *Одной из отличительных черт нового опыта нестабильности является обострение конфликтов легитимности*: игроки, сталкивающиеся в политическом противоборстве, ввиду взаимной чуждости не воспринимают друг друга как легитимных партнеров по взаимодействию и с легкостью переходят к насилию для разрешения конфликта.

Новым общественным реалиям должна соответствовать новая демократическая форма – «плюралистическая демократия». Как подчеркивает автор одной из влиятельных трактовок последней Шанталь Муфф, в настоящее время демократическое мышление должно опираться на признание реальности неразрешимых конфликтов. Типичным для жизни в современном обществе является наше столкновение с «конститутивно внешним», с Другим, отрицающим нашу идентичность и ставящим под вопрос само наше существование. Жизнеспособный демократический процесс требует осознанного поддержания открытого конфликта, а не его замалчивания или декоративного разрешения. Только при этом следует проводить различие между «врагом» и «соперником»: важно, чтобы в рамках политического сообщества оппонент рассматривался не как враг, которого следует

уничтожить, а как соперник, чье существование признается законным и должно восприниматься с терпимостью, несмотря на неразрешимые расхождения.[5] Мы будем бескомпромиссно бороться против его идей, но не будем ставить под вопрос его право их защищать. Таким образом, нужно не отрицать реальность антагонизмов, а давать им политическое разрешение в рамках плюралистической демократической системы, сильной стороной которой является то, что она переводит враждебность в мирную форму открытого соперничества.

Задача далеко не из легких и не имеющая общего и однозначного решения, и все же в современных политико-философских дискуссиях в качестве ключевого элемента, придающего жизнеспособность плюралистической демократии, вырисовывается *независимая публичная сфера*. Это коммуникативное пространство располагается в качестве посредствующего звена между областями частной жизни и государством. Оно образовано взаимодействием (пересечением, наложением) множества публик – спонтанно возникающих автономных объединений частных лиц. Публики не имеют властных полномочий, не принимают непосредственного участия в принятии политических и управленческих решений; способом их существования является разговор: на различных дискурсивных аренах частные лица обсуждают общие дела. И, тем не менее, независимая публичная сфера поддерживает автономию общества относительно государства; более того, путем прояснения значимых вопросов и обсуждения острых тем, посредством формирования общественного мнения она способна оказывать направляющее и контролирующее воздействие на государство.

Конечно же, наивно представлять себе публичную сферу как область свободной от принуждения рациональной коммуникации, в которой достигается общественное согласие. Это коммуникативное пространство является сложным и разнородным образованием, пронизанным социальным противоборством между господствующей публикой, основанной на практиках исключения, и оппозиционными объединениями общественности. И само понимание границ «публичности» не является естественной данностью: вытеснение некоторых тем в область «частного» (относящегося к распоряжению частной собственностью или к внутрисемейным отношениям) может служить легитимации классового и гендерного неравенства.[6]

Однако независимый от государства публичный дискурс, несмотря на пронизывающие его властные асимметрии и фактическую ограниченность, содержит в себе идеализирующее предвосхищение универсальной публики. Приводя острые общественные конфликты к прозрачности (пусть всегда частичной), *дискурсивное противоборство обеспечивает поступательное расширение и обогащение публичности и служит путеводной нитью для превращения «врагов» в «соперников» в рамках плюралистической демократии.*

Таким образом, и в очень сложно организованных политических сообществах, пронизанных антагонизмами, демократический проект автономии сохраняет свою жизнеспособность. Но, как нетрудно заметить, современный образ демократии радикально инороден офи-

циальной белорусской «реальности». Это и неудивительно: «Старые установки типа “догнать”, “перегнать”, “усвоить цивилизованный опыт” – эти понятия мы уже сдали в утиль, и возвращения к ним не будет»[7]. Тем не менее их сопоставление продуктивно в критико-аналитическом плане, причем не только для того, чтобы констатировать патологическое отклонение от нормы. По нашему мнению, рассмотрение белорусского «особого случая» в свете современных представлений о демократии эвристично: оно позволяет более основательно раскрыть перверсивный характер официальной модели «народовластия» и проинтерпретировать событие недавних президентских выборов.

Имея вполне определенное институциональное воплощение, белорусская модель «народовластия» существует и на уровне социального воображаемого – того «невидимого цемента» (Касториадис), который придает институтам смысл и естественность, сплетает их во взаимодействии и легитимирует как согласованную целостность. Для характеристики модели на этом уровне мы используем раскавыченные цитаты из опубликованных выступлений А. Г. Лукашенко последних лет: зачитываемые речи или отредактированные выступления, в отличие от экстравагантных импровизаций, содержат в себе показательные общие места официального воображаемого.

При таком подходе в белорусской модели народовластия можно выделить как минимум три основных элемента. Первым из них является *субстанциализация «Народа» – источника легитимности государственной власти*. Народ воображается не просто как целостное монолитное образование, но почти что как антропоморфное существо, наделенное сознанием и волей. Народ – умный и образованный – все видит и понимает. Обычно доброжелательный, толерантный и рассудительный, он, когда надо, становится мужественным, волевым и непреклонным и отвергает внешнее давление, навязывающее чуждые ему формы жизни. Квазисущество «Народ» обладает нуждами и потребностями «простого человека»: он непритязателен, ценит мир и спокойствие, довольствуется относительным благополучием.

Вторым элементом является *маргинализация автономных политических игроков* (партий и НПО), категоризируемых как «оппозиция». В принципе признается, что партии, движения или общественные объединения вправе отражать различные точки зрения нашего населения по разным проблемам общественного развития. Белорусская демократия не отвергает инакомыслия, но требует чистоты побудительных мотивов, опоры только на свой народ и единства действий на основе народных интересов. А оппозиционные партии и общественные организации в нашем обществе вообще никого не представляют и являются противниками народа и общества. Они систематически не получают на выборах народной поддержки, потому что предлагают деструктивные программы, выступают за то, чтобы повернуть вспять созидательный курс последнего десятилетия, разрушить созданное в Беларуси за это время. Сверхзадачей оппозиции является борьба против нынешней власти за деньги, получаемые из-за границы. И власть на самом деле

не нужна оппозиции, потому что власть – это тяжелое бремя, или нужна разве что для того, чтобы рассчитаться с Западом и себе ухватить кусок народного достояния, не думая о будущем страны. Таким образом, у оппозиции нет никакого позитивного ресурса, пока что это «так называемая оппозиция».

Наконец, третьим элементом является *установление цикла воображаемых непосредственных отношений Народа и Президента*, подготовленное маргинализацией автономных политических игроков. Эти отношения воображаются как непосредственные благодаря символическому унижению чиновничества: последнее трактуется как неизбежное зло (без чиновников государству не обойтись), но это зло следует минимизировать жестким контролем Президента. Встречаясь с людьми на местах, Президент чувствовал (даже если люди сами ничего не говорили), что обижают чиновники простого человека, – и он объявил борьбу за дебюрократизацию общества. В частности, весьма эффективным методом профилактики бюрократизма и поддержания активности всей государственной системы является регулярное обновление кадров на руководящих должностях. Президент непосредственно обращается к народу, его заботят нужды и проблемы простых людей, постоянно и повсеместно встречаясь с людьми, он знает комплекс этих нужд, сам незамедлительно принимает решения, снимающие локальные проблемы, и жестко контролирует исполнение этих решений чиновниками. В ответ на эту всеобъемлющую заботу Народ совершает настоящий подвиг: в условиях сильнейшего давления со стороны враждебного окружения Беларуси поддерживает Президента на выборах и референдумах.

Президент, непосредственно уполномоченный Народом, перед ним же непосредственно отвечает всеми своими делами. Будучи лишь полномочным представителем Народа-суверена, Президент одновременно всецело активен и всецело пассивен: он движет всем в государстве, но ничего не привносит от себя, а только выполняет волю Народа. Народ и Президент действенно едины до неразличимости, но «онтологически» они полагаются различными; в этой игре единства и различия и заключается весь фокус: *утверждение Президента в качестве единственного и непосредственного представителя воображаемого субстанциального Народа обеспечивает самолегитимацию власти; Народ в этой модели народовластия функционирует как алиби для авторитарного государства.*

Эта воображаемая конструкция жизнеспособна и обладает практической реальностью постольку, поскольку отдельные индивиды и различные категории населения в нее инвестируют: идентифицируют себя с Народом и признают Президента своим защитником и опекуном. Реальным «базисом» белорусской модели «народовластия» служит *политическая экономия страха* – система, в которой можно выделить по меньшей мере три рабочих блока:

1) спонтанное генерирование страхов и боязней опытом жизни в меняющемся мире (страха самостоятельного выбора в ситуации ценностной неопределенности, боязни жизненной и профессиональной

несостоятельности в новых условиях, страха перед бесконтрольной рыночной стихией, боязни социальных конфликтов, этнического насилия, разгула преступности и т. п.);

2) расширенное воспроизводство страха перед нестабильностью «большого мира» посредством «идеологических аппаратов государства» (государственных масс-медиа, системы образования, подконтрольных общественных организаций, системы социальной работы)[8];

3) запугивание посредством использования репрессивного аппарата авторитарного государства; здесь следует обратить особое внимание на «мягкие» репрессии, не требующие применения физического насилия и осуществляющие производство и распределение страха[9] (проблемы с карьерой или бизнесом, увольнения, отчисления из учебного заведения и т. п.); мягкая репрессия сдерживает и упреждает практические проявления нелояльности, причем не только явно оппозиционной деятельности, но и вообще личной независимости, самостоятельности в суждениях и поступках.

Система политической экономии страха генерирует поддержку власти; причем в действительности смысл «поддержки» варьируется в весьма широком спектре, включающем, в частности: искреннюю приверженность политическому авторитаризму; нужду в государственной опеке и социальных гарантиях; боязнь перемен и связанной с ними неопределенности; неверие в перспективность противостояния сильной власти; прагматическое встраивание индивидуальных жизненных проектов в существующую систему; нерефлексивное принятие политического порядка, каким бы он ни был. Таким образом, *мотивов и степеней поддержки много, и они весьма различны, но официальное воображаемое сплавляет это многообразие в единый интегральный эффект поддержки Президента всем Народом.*

В свете современных представлений о демократии становится понятной специфическая перверсивность официальной белорусской модели: *здесь осуществление «народовластия» на деле означает стирание политического*. Во-первых, в том смысле, что *единственным политическим субъектом в этой модели оказывается Президент*: ведь субстанциальный Народ не является действующим лицом, точнее, единственным его (воображаемым) актом является передача Президенту мандата на суверенную власть. Но в таком случае личные идиосинкразии, пристрастия, фобии, колебания настроения и т. п. А. Г. Лукашенко (человеческого субстрата Президента) обретают непосредственно политическое значение. Причудливо перемешиваясь с личным, публично-политическое утрачивает свою определенность.

Во-вторых, *под прикрытием официальной мифологии всё решающего и всё движущего Президента расцветают многообразные аппаратные авторитаризмы*. Представление о Лукашенко как о злом гении, стоящем за всеми гадостями и несправедливостями в Беларуси, — это простая инверсия представлений о нем же как лично обеспечивающем движение каждого комбайна (и, вообще говоря, всемогущество Президента прямо пропорционально воображаемой субстанциальности Народа). Аппарат символически унижен, но практически именно ему

принадлежит реальная власть на всех аренах социального взаимодействия, и это позволяет говорить о Беларуси как всецело администрируемом обществе.

В-третьих, *белорусская модель «народовластия» деполитизирует население*. «Гражданская» позиция здесь предполагает добровольное самоограничение: бремя принятия политических решений передоверяется власти («я не занимаюсь политикой», «политика меня не касается»), существующий порядок воспринимается как квазиприродная рамка повседневного существования, горизонт мышления и действия замыкается в сфере частной жизни (бытовых, семейных, карьерных и т. п. проблем). Более того, безопасность и обеспеченность приватного напрямую зависит от добровольно принятой политической индифферентности. Парадоксальным образом белорусское «народовластие» фактически переводит общество в дополитическое состояние, а политический процесс в целом приобретает характер инсценировки.

Поэтому и президентские выборы инсценируются не только в смысле нарушений при их проведении и злоупотреблений при подсчете голосов: действительное скрытое значение этого действа не совпадает с публично объявленным. Это не политическое волеизъявление граждан, выбирающих высшее должностное лицо в своем государстве, а ритуал воспроизводства замкнутой белорусской «реальности». Жертвы политической экономии страха подтверждают свою замкнутость в частной жизни, авторитарная власть легитимирует саму себя, используя Народ как алиби.

Такие выборы по определению не могут быть событием, у них темпоральность воспроизводства предзаданного образца. На первый взгляд может показаться, что ничего нового не произошло и на этот раз: А. Г. Лукашенко одержал очередную «элегантную победу», оппозиция потерпела очередное сокрушительное поражение, международная реакция сюрпризов тоже не преподнесла. Неужели впереди опять бесконечный тупик?

Нет, этим выборам все же была присуща событийность, чреватая стратегическим изменением ситуации. Прежде всего, имеются в виду массовые гражданские протесты 19–25 марта, которые оказались *вторжением политического в инсценированную политику*. Граждане решились на прямое противостояние мощной репрессивной машине, чтобы отстоять свое человеческое достоинство, право самостоятельно определять свою жизнь и судьбу своей страны. Наверное, у многих участников не было ясного представления об альтернативном пути развития, но было твердое убеждение: так, как сейчас, в Беларуси больше быть не должно. И, отстаивая это убеждение, они шли на риск и были готовы на самые серьезные жертвы. Конечно же, революция не могла состояться: слишком неравны силы, слишком слаба организация; но значение гражданского протеста велико: вторжение политического, пусть кратковременное и локальное, пробило брешь в замкнутой белорусской «реальности».

В системе политической экономии страха, поддерживающей официальную модель «народовластия», постепенно происходят струк-

турные изменения: больше становится тех, кто способен без государственной опеки выстраивать свою жизнь в «большом мире» и не отзывается на оклик идеологических аппаратов государства. Отсюда следует повышение роли откровенно репрессивного воздействия, что снижает «бесшумность», а значит, и эффективность работы системы. Она еще достаточно работоспособна, для того чтобы обеспечить власти прагматически достаточную поддержку. Но, с другой стороны, следует учитывать, что официальная модель «народовластия» предполагает единство и неделимость Народа: у воображаемого суверена не может быть рассогласованных частей. И если становится явным, что существенная часть граждан решительно против авторитарной власти, и эту часть не подвести под категорию горстки проплаченных из-за рубежа изгоев и отщепенцев, то в функционировании модели «народовластия» происходит системная ошибка; нужно допускать то, что здесь невозможно по определению, потому что самоубийственно: самостоятельную политическую активность населения, ценностный плюрализм, независимую публичную сферу и т. п.

За видимым восстановлением пресловутой белорусской «стабильности» скрывается фундаментальная неопределенность будущего. С учетом этой неопределенности едва ли реалистично прогнозировать сроки перехода от специфического белорусского «народовластия» к обычной демократии. Ясно лишь, что эта перспектива напрямую зависит от динамики дальнейших вторжений политического в инсценированную политику, от публичных акций граждан, самоотверженно заявляющих о своем неприятии системы общественной гетерономии.

Примечания

1 Castoriadis C. *Philosophy. Politics, Autonomy*. Ed. by David A. Curtis. New York, Oxford: Oxford University Press, 1991.

2 См.: Calhoun C. *The Public Good as a Social and Cultural Project*, in Powell W., Clemens L. (eds.) *Private Action for the Public Good*. New Haven: Yale UP, 1998.

3 Ср.: Хабермас Ю. *Демократия, разум, нравственность*. М., 1995.

4 Archibugi H., Held D. (eds.) *Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order*. Stanford: Stanford UP, 1995.

5 Mouffe Ch. *The Return of the Political*. Verso, 2006.

6 Fraser N. *Rethinking the Public Sphere*. Social Text 25/26. 1990.

7 Выступление президента Республики Беларусь А. Лукашенко на церемонии подписания решения, принятого республиканским референдумом 17 ноября 2004 г.

8 См. подробнее: Фурс В. *Белорусская реальность в системе координат глобализации (постановка вопроса) // Топос*. 2005. № 10.

9 Идея «мягких репрессий» позаимствована из доклада Маргариты Бальмаседы на конференции «Беларусь на перекрестках посткоммунизма» (Вильнюс, май 2005).

«ОТМОРОЗКИ», ИЛИ О ТОМ, КАК РОЖДАЕТСЯ ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Григорий Миненков

«Бабушка, ну я не могу, понимаешь. Все мои там.
Ба, ну прости. Не плачь, ба.
Не могу я, понимаешь? Спасибо, ба».
(Случайно услышанный разговор по мобильнику.)[1]

В чем нельзя отказать нынешней белорусской власти, так это в таланте производства метафор. Метафор, которые начинают выполнять совсем иную роль, чем та, которую предназначал ей производитель соответствующей риторики. Социальный дискурс никогда не мог обходиться без метафор. Но особенно велика их роль в попытках осмысления особенностей современных социальных процессов, не «вмещающихся» в привычные схемы социального анализа.[2] Значимость метафор для современного социального познания состоит в том, что им присущ синтетический характер, ибо их содержательная структура охватывает концептуальные, репрезентирующие, символистские, политические и иные стратегии, не всегда четко артикулируемые самими авторами метафор. Все это, на мой взгляд, характерно и для метафоры ***«отморозки»***, которую власть, весьма почему-то любящая уголовно-лагерную риторику, использовала для характеристики и дискредитации своих противников. Однако, принимая во внимание мартовские события в стране, я утверждаю, что данная метафора выполнила совсем иную роль, с одной стороны, став самоописанием (в духе Н. Лумана) самой власти, а с другой – выявив некий новый процесс, набирающий силу в Беларуси, процесс, с которым власть справиться не в состоянии. В последнем случае речь идет, на мой взгляд, о новых практиках воображения и конструирования идентичности, соответствующей тенденциям глобализации и формирования сетевого общества, общества, в котором белорусской власти и воображаемому ей социуму места нет. В данной статье я и пытаюсь прояснить некоторые тенденции и измерения обозначенного процесса исходя из того, что в центре находится конструирование гражданской идентичности, причем в нетрадиционных для модерного общества формах, что и становится «школой независимости» во все оттенках этого выражения.

* * *

И вот, за этой живой стеной – оцеплением – мы разбили свои палатки. Четко помню момент, когда я стояла в оцеплении, колебалась, идти ли внутрь, и меня позвала Светка, моя подруга, которая уже работала там. Никаких особенных эмоций я тогда не испытала. Просто

шагнула в середину и взялась за дугу, помогая ставить палатку. Потрясение пришло позже. Сначала я прятала лицо под капюшоном, потому что множество видео- и фотокамер целились нам прямо в глаза. Потом я решила, что это какое-то половинчатое решение: чего уж тут останавливаться. И сняла капюшон. (Из дневника Даны)

Многие комментаторы мартовских событий заговорили о Событии, наконец-то случившемся в Беларуси, о завершении эпохи «памяркоўнасці тутэйшых», о появлении в стране Политики и Публичного Пространства, о рождении современной Нации. Я согласен с этим. Я думаю, что 19–25 марта 2006 г. в стране случилось Событие такого рода, от которого обычно начинают исторический отсчет. Нечто вроде 11 сентября, только с иным знаком и содержанием. Случившееся Событие не вмещается в привычные политические и теоретические схемы, которыми все еще пользуются отечественные аналитики и политики. С События должно, наконец, начаться переосмысление нашего социального бытия, о чем мне уже не раз приходилось писать, анализируя белорусскую ситуацию.

Что же произошло холодными мартовскими ночами на Площади? Какая сила стала сильнее? Произошло, на мой взгляд, предельно важное – родился новый политический Субъект, субъект, отвечающий потребностям и тенденциям развития современного глобального общества, или *новая оппозиция*. Я использую термин «оппозиция» не в политическом только смысле, но как обозначение состояния гражданского сознания человека глобального мира. Человека, который занимает критическую рефлексивную позицию по отношению ко всяким границам и ограничениям, который принимает инаковость другого и ищет способы согласованной жизни, который понимает, что всегда имеется множество проектов воображаемого будущего, и мы должны неким образом их сочетать исходя из практик включения, а не исключения. Эпоха старой оппозиции, действовавшей в привычных партийно-групповых схемах модерного национально-государственного устройства и в этой логике пошедшей на участие в якобы выборах, в Беларуси завершилась. Рождается новая оппозиция, во многом похожая на новые социальные движения последней трети XX в., приведшие к полной перестройке мира. Оппозиция эпохи свободных потоков информации, мобильности, номадизма и интернета, оппозиция ризоматического сетевого общества с его многообразием идентичностей, противостоящих любому тупому «управляемому парадку». Площадь вышла за пределы национальных, языковых и прочих делений – она вышла в Мир, и мир узнал ее. На ней фактически и символически материализовался *новый мир*, формирующийся не в залах заседаний, а в *сети*, материализовались группы, являющиеся продуктом работы *собственного* воображения. А это и есть основная работа современного мира. Беларусь, хотя и с опозданием на несколько десятилетий, наконец, тоже принялась за нее. Старая оппозиция, судя по ее реакциям, плохо понимает, что с этим делать, и вновь начинает твердить о конгрессах, заседаниях и т. п. Кажется, только Александр Милин-

кевич интуитивно почувствовал смену эпох, что позволяет предположить, что он сможет стать лидером новой оппозиции, если, конечно, у сети может быть традиционный лидер.

Всем нам нужно пытаться глубоко и серьезно осмысливать данный феномен. В том числе и для того, чтобы дать язык новой оппозиции, или рождающемуся на наших глазах *гражданскому (со)обществу*, точнее, сформовать его, ибо он — язык — тоже рождается сегодня, например, во множестве великолепных нарративов случившегося на Площади и вокруг нее. Читая эти тексты, я вижу, как буквально на глазах рушится традиционная социальная наука с ее эссенциалистскими предпосылками и создаются новые рассказы, учреждающие иной мир, мир, который в скором будущем сменит прогнившую социальность. Белорусский «парадак», для которого люди есть исключительно жрущие и спаривающиеся существа (этакий марксистский рудимент), а потому он так ничего и не смог придумать для дискредитации участников События, кроме шприцев, водочных бутылок и порножурналов (блестящий символ уровня подобного мышления — голые ноги, торчащие из палатки; и это в морозную ночь на асфальте!), ничего этому противопоставить не может. Реальное общество уходит в иное измерение.

> То есть много законопослушных и скромных граждан было на площади в эти дни. И еще: все, кто там был, и в оцеплении, и те, кто помогал, и те, кто просто пришел поддержать своим присутствием, и те водители, что сигналили, и те, кто приносил еду, одежду, палатки, все те, кто участвовал в этом на стороне протестующих — все они отличаются одной чертой... Отсутствием страха. Отсутствием боязни потерять то, что у них есть. Таких людей невозможно шантажировать и превратить в рабов, потому что это — сильные люди. Смелость делает людей сильными. Сильными духом. На площади протестовали те, кто смог сделать выбор между: 1) быть бесправным, молчаливым и иметь то, что дадут; и 2) обладать всеми правами человека, быть человеком и самому решать, что иметь. Мы выбрали второе. Мы не побоялись: потерять учебу — всегда можно научиться чему угодно и стать профессионалом; потерять работу — всегда можно найти лучшую; потерять семьи (?) — но это нереально, в семьях всегда любят нас, чтобы ни случилось; потерять свободу... Свобода — это вопрос состояния и мировоззрения, а также личной этики. Рабами нас делают наши нечестные и несправедливые поступки. Те, кто вышел на площадь, и те, кто им помогал и поддерживал, — сохранили свою целостность, свою честность и, следовательно — свою свободу. (Из дневника Виктора)

Как понять это новое измерение? На мой взгляд, одним из направлений концептуализации, причем концептуализации не внешней, но являющейся элементом самих социальных практик, может быть его описание на языке современных моделей социальной и культурной идентификации. При этом особенно важно обращение к опыту «новых социальных движений» (НСД) последней трети XX в., открывших совершенно иные механизмы конструирования идентичностей. Я не собираюсь здесь включаться в дискуссию о сути и судьбах НСД,

скажем, в духе А. Турэна, внесшего значительный вклад в теоретический анализ НСД в 1980–90-е гг., но ныне полагающего, что данная категория не вполне применима к настоящему и скорее имеет значение при исследовании исторических процессов.[3] Вполне вероятно, что Турэн прав в контексте реалий нынешнего западного общества. В то же время он подчеркивает, что идею социальных движений следует сохранить применительно к тем коллективным действиям, которые становятся вызовом конкретным способам социального доминирования, провоцирующим сопротивление независимо от социального или материального положения участников сопротивления.[4] То есть о социальном движении как реальном факте мы можем говорить тогда, когда коллективное действие, направленное против тех или иных форм господства, выходит за пределы партикулярных интересов, связанных с каким-либо конкретным социальным полем; иначе говоря, речь идет о тех широких субъективных смыслах, которые участники движения вкладывают в свои действия, независимо от конкретной «социальной прописки».[5] Опираясь на данные положения, я выдвигаю гипотезу, что практики сопротивления, материализовавшиеся на площади Кастуся Калиновского в марте 2006 г. и ныне распространяющиеся в самых различных формах по всей стране, представляют собой белорусскую аппликацию НСД, которая в перспективе радикально изменит белорусское общество. В центре этой своеобразной политики идентичности находится, на мой взгляд, конструирование *гражданской идентичности*, отвечающей потребностям структурируемого электронными медиа глобального общества и взрывающей рамки модерной нации-государства. В этом смысле люди, вышедшие на площадь, действительно «отморожены» от сконструированной белорусским ТВ «реальности». Они живут в иной реальности, иных пространственно-временных координатах, детерминированных не прошлым, а будущим.

Следуя М. Кастельсу, социальные движения можно определить как «целенаправленные коллективные действия, результаты которых, как в случае выигрыша, так и поражения, трансформируют ценности и институты общества»[6]. Как подчеркивает один из самых глубоких аналитиков НСД А. Мелуччи, движения являются знаком; они сигнализируют о глубокой трансформации логики и процессов, направляющих комплексные общества, провозглашая то, что формируется прежде, чем направление и содержание изменений станут понятными. Они характеризуются не силой своего аппарата, но властью слова. Они свидетельствуют о начале изменений, но не в отдаленном будущем, а уже сегодня. Они говорят полностью на своем языке, но говорят нечто, что преодолевает партикулярность и обращается ко всем нам.[7] Иными словами, они учреждают новые универсалии. Именно поэтому применительно к НСД не работают традиционные схемы социального и политического анализа, ориентированного на жестко выделенные социальные группы (классы) и очевидные детерминанты коллективного действия. Подобная ограниченность четко выявилась в ряде попыток анализа событий марта 2006 г. Однако нам нужны

иные модели концептуализации и иные аналитические структуры. Мелуччи справедливо настаивает на необходимости учета культурного измерения движений, ибо движения есть не объекты, действующие на основе единства целей, предписанных идеологами, но сложные сети, объединяющие самые различные уровни и смыслы социального действия. Коллективная идентичность, позволяющая представителям движения становиться социальными акторами, не является ни предписанной величиной, ни некоей изначальной сущностью; напротив, она оказывается результатом переговоров и конфликтов между акторами и их решений.[8] Иными словами, внимание следует обращать не столько на какие-то внешние черты НСД, скажем, количество участников, степень организованности и т. п., ибо в таком случае ничего «нового» мы тут не увидим, но на те культурные коды, которые скрыты за действиями и посредством которых движения несут некое сообщение миру. Это значит, что речь должна идти о смыслах, или об *идентичностях*, скрытых за совокупностью тех или иных социальных практик, выявляющих направленность коллективных действий. Отметим также, что используемый в данном случае концепт коллективного действия имеет исключительно аналитический характер, ориентируя на выявление *совместных* смыслов, побуждающих каждого конкретного участника движения действовать в понятном другим участникам формате, решая те или иные конфликты и формируя сознание и сети солидарности.

Речь, таким образом, идет о *системе референции* коллективного действия, которую не следует смешивать с конкретными местами социальной практики, где эти действия происходят. Причем у подобной системы нет привилегированных центров (элементов), выражающих смысл целого. Каждый элемент репрезентирует самого себя в отношениях с другими, и каждое проявление этих отношений воздействует на целое. Коллективное действие есть тем самым результат отношений, которые соединяют вместе множество социальных акторов, производящих смысл того, что они делают, и задающих тем самым вектор движения и принципы солидарности его участников. Движение – и это самое важное – принципиально отказывается (первоначально интуитивно) от правил игры, навязываемых властью, ставя последнюю в тупик, и формирует собственные правила и собственный образ общества. Согласно Мелуччи, «эмпирическое единство социального движения следует рассматривать скорее как результат, чем исходный пункт, как факт, скорее требующий объяснения, чем нечто уже очевидное. Коллективное действие является многополюсной системой действия, которая объединяет различные ориентации, включает многочисленных акторов и охватывает совокупность возможностей и ограничений, формирующих отношения между акторами. Акторы производят коллективное действие потому, что они способны определить самих себя и свои отношения со средой (другими акторами, доступными ресурсами, реальными возможностями и препятствиями)»[9]. В центре этих процессов находятся конкретные практики идентификации, воображающие желаемое будущее в радикальном противопоставлении настоящему и тем более прошлому. И если мы хотим понять

особенности конкретного движения, нам необходимо обращаться именно к этим практикам.

> Из ответов на вопрос, почему пришел на площадь: стыдно. В голове Галич: «Можешь выйти на площадь в тот решительный час?» (Мужчина, за 40)

Мне кажется, что в этом ответе выявлен смысл того нового социального движения, которое складывается в Беларуси. Смысл прежде всего нравственный. Действительно, стыдно. Стыдно за то, что происходит в стране. Стыдно за ту власть, которая оккупировала страну и колонизировала ее повседневность. Стыдно за то, что показывает БТ. Стыдно сознаваться за рубежом, что ты из Беларуси, и ловить на себе жалостливые взгляды. Мне представляется, что в отечественной ситуации именно чувство стыда за происходящее, унижающее нравственное достоинство, оказывается пусковым механизмом практик идентификации, соответствующих особенностям социальных движений информационной эпохи, детерминированных, согласно Турэну, скорее нравственными, чем какими-либо иными (экономическими, статусными и т. п.) основаниями: речь теперь идет не столько о содержании или конкретных формах социальной жизни, сколько о неограниченных возможностях для адаптации к постоянно меняющейся, и часто непредсказуемой, среде, или об автономии, свободе и ответственности индивида, претендующего на роль сознательного субъекта изменений.[10] Современные социальные движения принимают форму *культурных* движений, а в результате идентичность оказывается источником смысла и опыта людей, организуя их и направляя процесс индивидуации, выходящий в центр коллективного действия.[11] Тем самым на передний план выдвигается процессуальный подход к идентичности.

Подчеркну, что разговор идет прежде всего о коллективной идентичности, в частности, в интерпретации А. Мелуччи, который и разработал данный концепт применительно к новым социальным движениям. Приведем определение Мелуччи: «Я называю *коллективной идентичностью* процесс “конструирования” системы действия. Коллективная идентичность есть интерактивный и совместный процесс определения, осуществляемый некоторым количеством индивидов (или групп на более сложном уровне) и связанный с *ориентациями* их действий и *полем* возможностей и ограничений, в котором такие действия происходят. Под “интерактивным и совместным” я имею в виду то, что эти элементы конструируются и согласовываются на основе повторяющегося процесса активации отношений, объединяющих акторов в некоторое целое»[12]. Коллективная идентичность как процесс опосредована тем самым сетью *активных отношений* между акторами, которые взаимодействуют, вступают в коммуникацию, влияют друг на друга, договариваются и принимают решения. Формы организации и модели лидерства, коммуникативные каналы и технологии коммуникации являются конститутивными частями этой сети отношений. К тому же в современных социальных движениях, особенно связанных с культурными проблемами, идентичность все более явно

оказывается результатом сознательного действия и *саморефлексии* и тем самым теряет статус, основанный на совокупности предписанных или «структурных» характеристик. Коллективная идентичность имеет тенденцию к совпадению с сознательным процессом организации и воспринимается не столько как ситуация, сколько как действие. В этом контексте становится особенно понятным смысл следующего вывода Мелуччи: «Коллективная идентичность есть процесс обучения, который ведет к формированию и поддержанию единого эмпирического актора, которого мы можем назвать "социальным движением". Поскольку этот процесс проходит через разные стадии, коллективный актор развивает способность разрешать проблемы, поставленные средой, и становиться все более независимым и автономным в своей способности действовать в рамках той структуры отношений, в которую он включен. Процесс коллективной идентичности есть, таким образом, и способность создавать новые определения, интегрируя прошлое и возникающие элементы настоящего в единство и непрерывность коллективного актора»[13]. Тот факт, что идентичность есть непрерывный процесс обучения в самих практиках идентификации, со всей очевидностью показали события последнего времени в Беларуси.

Не приходится сомневаться в том, что идентичностям присущ реляционный характер, и конструируются они из самого различного материала, в любом случае оказываясь культурным проектом, задающим иные измерения социальной реальности и направленности действий.[14] Идентичность, точнее, процесс идентификации принимает форму поля, где взаимодействуют самые различные векторы и центры притяжения при наличии некоего общего длящегося смысла. Этим определяется политическая и аналитическая важность типологии процессов идентификации и соответствующих идентичностей. Кастельс, например, выделяет три формы строительства идентичностей[15]: 1) легитимирующие идентичности, используемые господствующими социальными институтами для расширения и укрепления доминирования над социальными акторами; 2) идентичности сопротивления, формируемые акторами, находящимися в ситуации недооценки и/или стигматизации логикой господства; 3) проективные идентичности: социальные акторы на основе доступного культурного материала строят новую идентичность, которая переопределяет их положение в обществе и в ходе этого стремится преобразовать всю социальную структуру. Для целей нашего анализа особенно значимы последние две формы.

> В эти дни я узнала, что значит Переступать страх, что значит Любить и что значит Ненавидеть. И как это бывает, когда рушится вся жизнь. Кое-что из того, что я узнала и почувствовала, я никогда, НИКОГДА не смогу забыть. А кое-что не смогу простить. Сколько буду жить – будут жечь меня эти воспоминания. Наверное, это были самые сильные потрясения в моей жизни. (Из дневника Даны)

Идентичность сопротивления часто имеет своим истоком невыносимость наличного существования, причем вовсе необязательно в эко-

номическом смысле. Скорее, речь должна идти о *нравственной невыносимости* существующего положения, о ситуации, когда становится *стыдно* продолжать жить именно так, ибо это унижает нравственное и гражданское достоинство личности. Возникает неодолимое чувство необходимости изменений, причем люди, включающиеся в этот процесс, могут весьма абстрактно определять вектор этих изменений: демократия, свобода и т. д. На мой взгляд, именно нравственная невыносимость наглого избирательного обмана переполнила чашу терпения и вывела в марте десятки тысяч людей на минские улицы, запустив механизм конструирования иных идентичностей. Они вышли защищать свое нравственное достоинство, что оказалось непостижимым для власти и ее рупоров в СМИ, привыкших все измерять в категориях «жратвы» и «страха». При этом особенно важно, чтобы идентичность сопротивления перерастала в проективную идентичность, т. е. в проект иной жизни, задающий вектор трансформации общества как продолжения этого проекта идентичности. Следует учитывать, что подобный проект никогда не пишется заранее и не утверждается на каком-нибудь заседании, но творится здесь и сейчас с учетом особенностей сетевого общества и современных средств коммуникации. Проект сразу становится социальной практикой, которая все время корректирует его, формируя новое поле символических референций, без ссылки на которые невозможно уже никакое последующее коллективное действие, т. е. проективные идентичности задают траектории формирования новых исторических субъектов. Именно такое слияние идентичности сопротивления и проективной идентичности и стало основным результатом деятельности «отморозков» на Площади, превратившейся в своеобразную агору и ставшей точкой отсчета всех будущих аналогичных действий. Своими неадекватными и топорными действиями власть только укрепила этот синтез. Участники белорусской «новой оппозиции» сконструировали собственные символические поля репрезентации, репрезентации будущего, выйдя за границы, задаваемые дискурсом власти, противопоставив, казалось бы, эфемерное достоинство реальному брутальному страху. Идентичность наглядно выявила свой рефлексивный характер, став новым способом понимания и конструирования мира, иного мира. Со всей очевидностью обнаружилось, что дискурсивные практики движений и являются их самоопределением.

До сих пор мы рассуждали о поставленной в статье проблеме в достаточно узком внутреннем социальном и политическом контексте, что, конечно, ограничивает поле рассмотрения и не позволяет более объемно увидеть подлинный смысл мартовских событий. Чтобы решить эту задачу, мы должны обратиться к особенностям современных мировых процессов. И здесь нет никакого преувеличения. Любое локальное событие сегодня опосредовано глобальными измерениями; более того, сама глобализация происходит прежде всего на локальных уровнях. Я утверждаю, что феномен, названный мной «новой оппозицией», есть непосредственное отражение глобальных процессов, форма их реа-

лизации в белорусском контексте. А это, в свою очередь, означает, что белорусская диктатура обречена на неминуемое поражение. Это – анахронизм, модерный реликт, который в скором будущем будет сметен самой жизнью.

Стало общим местом утверждение, что сегодня мы живем в ситуации глобализации. Глобализация трактуется и оценивается по-разному, но невозможно в любом случае отрицать, что она задает совершенно иные измерения мышления и действий людей, не вписывающиеся в традиционную «контейнерную теорию общества» (У. Бек), согласно которой всякое общество вкладывается, как в контейнер, в национальное государство, исходя из которого и должны пониматься все социальные явления. В действительности же социальная жизнь пронизана множеством уровней и форм глобальной взаимозависимости, не вмещающихся в традиционные социальные и национальные границы; волны глобализации хаотически растекаются по земному шару; имеет место нарастающая социальная и культурная мобильность, и ни один человек, по крайней мере символически, не живет в одном-единственном месте; социальные процессы все более гибридизируются. Отсутствует какой-либо основополагающий принцип, который фиксировал бы и, следовательно, конституировал релевантное поле различий, отличающих одно общество от другого.[16] Антиглобалистская риторика белорусской власти есть лишь обреченная на поражение попытка спрятаться в «модерный кокон», чтобы защититься от непонятного мира.

Дело в том, что глобализация прежде всего разрушает представление об обществе как четко отграниченном регионе, объединяющем определенную совокупность социальных институтов, этаком «островке стабильности», о который разбиваются накатывающие со всех сторон волны враждебной глобализации, если следовать риторике белорусской власти. Иными словами, в контексте глобализации метафора общества как *региона* сменяется метафорой глобального, понимаемого как *сеть* или *флюид*. Согласно Кастельсу, нам следует вести речь о «сетевом обществе»: «Сеть формирует новую социальную морфологию наших обществ, и распространение сетевой логики существенным образом модифицирует ход и результаты процессов производства, восприятия, власти и культуры... Сетевое общество характеризуется преимущественной ролью социальной морфологии перед социальным действием»[17]. Кастельс определяет сеть как совокупность взаимосвязанных узлов, объединяющих определенные социальные позиции в качестве противоположности тому, что находится вне сети. При этом сети следует рассматривать в качестве динамических открытых структур, настолько длительных, насколько они в состоянии обеспечивать эффективную коммуникацию между узлами и собственное постоянное обновление. Сети одновременно и темпоральны, и пространственны, тем самым они создают качественно новые возможности для деятельности. Самое важное, что их никто не формирует; они формируются сами, отвечая потребностям тех или иных совокупностей индивидов. И в этом источник непобедимости сетевых структур, поскольку они

могут материализоваться в самых различных формах, разрушая своим ризоматическим характером «материальную» иерархическую логику традиционной власти и социальной организации.[18]

Этим определяется новая роль социального воображения, которое я трактую, следуя А. Аппадураи: «Воображение становится полем социальных практик, формой работы (в смысле как труда, так и культурно организованных практик) и формой согласования между различными сторонами деятельности (индивидами) и глобально определенными полями возможностей. Это распространение воображения связывает игру пастиша (в некоторых средах) с террором и принуждением со стороны государств и их конкурентов. Воображение сейчас в центре всех форм деятельности, есть само по себе социальный факт и ключевой компонент нового глобального порядка»[19]. Практики социального воображения оказываются практиками учреждения новых реальностей. Именно это стало главным результатом событий на площади Кастуся Калиновского: их участники ризоматически учредили новый мир, победив своим воображением примитивное воображение власти, которая может противопоставить только старые безжизненные схемы, исходящие из презумпции главной роли в социальных отношениях брутальной силы.

Описывая новейшие практики воображения, социальная теория предлагает серию метафор, среди которых особенно популярными являются концепты *скейпов* (ландшафтов) и *потоков*. Различные авторы, например Дж. Ури и А. Аппадураи, по-разному трактуют соотношение между скейпами и потоками, хотя для наших целей это не столь уж и важно. По крайней мере, мне ближе позиция Аппадураи, согласно которому скейпы выражают различного рода измерения культурных потоков, их конкретную направленность.[20] Подвижность ландшафтов становится основой процессуальности и *перспективистского* характера практик воображения конкретных индивидов, которые одновременно и переживают, и формируют более широкие образования, частично исходя из своего собственного понимания того, что эти ландшафты предлагают. Такие ландшафты (финансовый, медийный, идеологический и т. д.), согласно Аппадураи, становятся строительными блоками *воображенных миров*, создаваемых индивидами, рассеянными по всей планете.

Многие люди живут сегодня в подобных воображенных мирах, что позволяет им подвергать сомнению, а иногда и разрушать миры, воображенные, например, «официальным разумом». Да, подобная ситуация может создавать впечатление хаоса, с чем и пытается бороться «беларускі парадак». В действительности же это просто иной мир, мир новых поколений людей, для которых сеть и практики воображения в ней есть повседневный образ жизни. В защиту этого своего мира и выступила белорусская молодежь. Фактически мы получили в Беларуси новое издание конфликта поколений: дети восстали против родителей, навязывающих безнадежно устаревшие схемы воображения. Можно сказать, что мы реально столкнулись в белорусских координатах с той самой префигуративной культурой, о которой говорит М. Мид,

культурой, «где взрослые учатся у своих детей». Действительно, мир настолько радикально меняется, что даже опыт старших современников оказывается неадекватным для подготовки новых поколений к жизни в обществе, поскольку «во всех частях мира, где все народы объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых людей возникла общность опыта, того опыта, которого никогда не было и не будет у старших. И наоборот, старшее поколение никогда не увидит в жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного опыта перемен, сменяющих друг друга. Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ»[21]. Очевидно неизбежное разрешение данной ситуации в пользу новых поколений.

> Было понимание того, что власти не согласятся, ответят и что-то предпримут по поводу таких вот акций протеста. Но была также твердая уверенность, что мы — те, кто пришел на площадь, — не преступники, а граждане, имеющие полное право на выражение своей точки зрения и своего несогласия... железобетонная такая уверенность. (Из дневника Виктора)

Итак, современный мир сетей и свободных потоков информации есть мир многообразия практик воображения идентичностей, каждая из которых заявляет свои права на признание. Одновременно это мир, в котором нет «общепризнанного большого нарратива», некоей «главной идентичности», которая была бы «образцовой» для всех партикулярностей. Усилия белорусской власти навязать такую идентичность с помощью так называемой «государственной идеологии» тщетны по определению, а потому основным орудием «воспитательной работы» и оказываются милицейские дубинки. Однако есть и другая сторона проблемы, а именно: как может достигаться согласование различных идентичностей в ситуации «пустых» универсальных означающих. На мой взгляд, средством такого согласования является *гражданская идентичность*, что со всей очевидностью доказала Площадь.

Следует подчеркнуть, что многие аналитики исходят из позиции несовместимости гражданства и идентичности на том основании, что сегодня множество людей скорее ориентировано на интересы и права своих партикулярных социальных групп, что ведет к противопоставлению такому абстрактному концепту, как *гражданство*, всякого рода «примордиальных лояльностей». Подобные выводы имеют определенные основания в современных социальных практиках. И все же они представляются односторонними. Конечно, следовать абстрактному общественному долгу и думать об абстрактных других намного сложнее, чем заботиться о своих, исключительно частных интересах. Наверно, поэтому люди столь легко, особенно при неразвитости гражданского сознания, попадаются на всякого рода популистские крючки, столь характерные для «примордиалистской риторики» белорусской власти. Понимая логику отмеченной позиции, я, тем не менее, не считаю ее приемлемой. Представляется, что именно гражданская идентичность содействует усмирению страстей, порождаемых другими идентичностями, выступая тем *универсальным* горизонтом,

который задает векторы движения различным *партикулярным* идентичностям. Необходимо, следовательно, искать иной путь теоретического и практического решения проблемы; и такой путь, на мой взгляд, представлен концепцией радикального демократического гражданства, разработанной Э. Лакло и Ш. Муфф. Если многие теоретики либерального и коммунитаристского направлений пытаются найти адекватную форму разрешения противоречия между универсализмом и партикуляризмом, то названные авторы полагают, что подобное противоречие конститутивно для демократического процесса, оно позволяет понять суть и направленность современной гражданской идентичности.[22]

В современном смысле гражданство обычно определяется как такое отношение между индивидом и государством, при котором индивид лоялен к государству, а государство, в свою очередь, обеспечивает его защиту. Более конкретно можно сказать, что гражданство основано на принадлежности к особого рода группе, а именно политическому сообществу, и в этом смысле представляет собой совокупность отношений между правами, обязанностями, участием и идентичностью. Эти феномены могут быть названы компонентами гражданства. Гражданство можно *одновременно* представить как *совокупность практик* (культурных, символических и экономических) и как *единство прав и обязанностей* (гражданских, политических и социальных). Либеральная традиция политической философии, как в правой, так и в левой формах, главным образом рассматривала гражданство на языке прав, консервативная же традиция подчеркивала момент обязанностей или ответственности гражданина. Что касается идентичности, то она акцентировалась в националистических и коммунитаристских концепциях гражданства. Однако постмодернизация и глобализация вынуждают нас отказаться от унитарного и гомогенного концепта гражданства в пользу многомерного понимания. Быть гражданином сегодня вовсе не значит быть связанным *исключительно* с нацией-государством и национальностью как главной идентичностью. Скорее *идентичность* постмодерного гражданина есть совокупность различных форм гражданства, понятых как компетентная принадлежность к разным ценностным сферам или полям. Это значит, что следует не столько рассматривать гражданство и идентичность как антиномические принципы, сколько признавать, что появление новых идентичностей и притязаний на групповые права является вызовом *модерной* интерпретации универсального гражданства, что требует формирования новой концепции гражданства, отвечающей потребностям разных граждан.[23]

Как подчеркивает Дж. Диленти, сегодня мы нуждаемся в такой концепции гражданства, которая представляла бы его как многоуровневое явление, где пересекаются субнациональное, национальное и транснациональное измерения.[24] Можно сказать, таким образом, что гражданская идентичность и оказывается пунктом встречи и согласования различных партикулярных идентичностей. Н. Роуз считает необходимым говорить в этой связи о *«политике поведения»*[25]. Речь

идет о появлении новых форм связи между *личным* и *политическим*. Люди при этом рассматриваются не как исключительно социальные или экономические существа, что было характерно для социального знания вплоть до 1970-х гг., а как существа *этические*. Соответственно, решаемые обществом проблемы все в большей мере осознаются как этические по сути, а для форм управления поведением индивидов все большее значение приобретает этическое измерение. На передний план выходит опирающаяся на сообщество этика, формирующая ценности, которыми руководствуются индивиды. Это сопровождается построением новых отношений между *этическим* гражданством и сообществом, которые поддерживаются, но не управляются государством. Прежнее единообразное гражданство оказывается перед вызовом разнообразных форм идентичности и лояльности, все меньше связанных с общенациональной и гражданской культурой. Проблема тем самым уже не в национальном характере, но в способе получения многочисленными идентичностями равного признания в общей конституционной форме.

Следовательно, продолжим, опираясь на концепцию Ш. Муфф, радикально-демократическая концепция гражданства адекватно может быть сформулирована только в рамках проблематики, интерпретирующей социального агента не как унитарного субъекта, но как артикуляцию совокупности субъективных позиций, сконструированных в рамках конкретных дискурсов.[26] Идентичность такого субъекта всегда контингентна, неустойчива и зависит от конкретных форм идентификации. Приверженность демократическим нормам утверждается без устранения различий, одновременно противополагая себя унитарному авторитарному дискурсу власти, что как раз и соответствует практикам новых социальных движений. Соответственно, «цель демократической политики состоит в преобразовании “антагонизма” в “агонизм”»[27]. Индивиды, согласно Муфф, созданы не для того, чтобы мирно преследовать свои интересы, но связаны друг с другом смыслом и определением общих интересов. Их ассоциации никогда не могут быть гомогенными, поскольку для таких ассоциаций всегда требуется конститутивный другой. В этом случае радикальное демократическое гражданство может быть формой идентификации, а не просто правового статуса. Говоря иначе, гражданство есть не только одна идентичность среди других (либерализм) или господствующая идентичность, заменяющая другие (гражданский республиканизм). Скорее, «оно есть принцип артикуляции, который воздействует на различные субъективные позиции социального агента.., предоставляя возможности для плюральности конкретных объединений и для уважения индивидуальной свободы»[28]. Социальный агент оказывается не унитарным субъектом, но ансамблем субъективных позиций, что как раз и проявляется в новых социальных движениях. Радикальное демократическое гражданство есть не просто расширение сферы прав с целью включения этих групп, но оно создает возможности для радикальной взаимной перестройки идентичностей. Такое гражданство становится общей политической идентичностью многочисленных по-

зиций субъектов. Как представляется, именно в данном направлении должны предприниматься усилия по развитию «новой оппозиции», материализовавшейся в Беларуси в марте 2006 г.

Таким образом, описывая процессы формирования современной гражданской идентичности в конкретных локальных контекстах, мы должны уходить от узких трактовок, вписывая идентичность исключительно в «контейнер» нации-государства. Последнее – лишь одно из измерений гражданской идентичности. Есть и другие измерения, среди которых особый интерес представляют номадизм и космополитизм, явления, вероятно, еще «диковинные» для белорусского политического и культурного ландшафта, но, тем не менее, высвечивающие достаточно близкие перспективы эволюции, противостоящие одномерному дискурсу власти.

Выше уже говорилось о том, что особое значение для определения современных процессов имеют метафоры мобильности и перемещения, не важно, реального или символического. Вероятно, наиболее распространенной при обобщении данных феноменов является метафора кочевника или номады, фигур, специфичных для обществ детерриториализации, конституированных скорее «линиями перелетов», чем точками или узлами, что позволяет даже говорить о наступлении «номадической эпохи». Более обобщенно, номадическая детерриториализация артикулируется как способ сомнения в дисциплинарных границах и гегемонистских культурных практиках с точки зрения делегитимации и «маргинализации» центра.[29] В частности, Р. Брайдотти предлагает новый «взаимосвязанный номадизм» для интерпретации развития многообразных пересекающихся способов мышления на основе сложных и разнообразных паттернов.[30] Брайдотти разрабатывает данную концептуальную структуру применительно к феминизму, однако вполне допустима экстраполяция и на другие НСД, действительно номадические с точки зрения практик конструирования собственных гражданских и иных идентичностей.

Некоторые исследователи, например З. Бауман, однако, критически относятся к номадическим метафорам на том основании, что действительные кочевники, как правило, передвигаются из одного места в другое строго регулярным образом. Напротив, по мнению Баумана, более приемлемыми метафорами для постмодерных времен являются бродяга и турист, поскольку они не связаны с упорядоченной мобильностью.[31] Однако применительно к сетевому обществу возможно, как представляется, использование всех подобных метафор, поскольку та или иная позиция конструируется самим индивидом. Важен другой момент, который особенно наглядно, по моему мнению, описывает ситуацию, зарождающуюся в Беларуси.

Воспользуемся в данном случае интересным анализом А. Молом и Дж. Ло пересечения метафор регионов, сетей и потоков на основе аналогии с анемией. Если кто-то страдает от анемии, спрашивают авторы, то где она находится в теле? Очевидно, что нигде конкретно, но везде, где расположены кровеносные сосуды, по которым движется кровь. То есть для крови характерна странная топология без

определенной структуры: она представляет собой изменчивое (флюидное) движение по чрезвычайно сложной сети кровеносных сосудов, оказываясь тем самым везде и нигде конкретно в человеческом теле. Именно таковы, подчеркивают авторы, подвижные пространственные формы современной социальной жизни, структурирующиеся и переструктурирующиеся на пересечении сетей и потоков: «Ни границы, ни отношения не обозначают отличия между различными местами. Напротив, границы могут исчезать и вновь появляться, создавать возможности для утечки или исчезновения, в то время как отношения преобразуются без их ломки. Временами тем самым социальное пространство ведет себя подобно флюиду»[32]. Подобные пространства действительно неуловимы, как, например, флэш-мобы. Но именно они становятся образом жизни «сетевого поколения». Власть может сколь угодно долго и одинаково безуспешно «гоняться» за его представителями, кусая в итоге собственный хвост. Люди, становящиеся жителями новых виртуальных сообществ, постепенно формируют что-то вроде нового «глобального гражданского общества», создающего сети солидарности за пределами наций-государств. Такое общество может включать новые формы обучения, альтернативные культуры, создавать новые возможности для демократии участия.[33] В киберпространстве люди, таким образом, не проживают в определенном месте, хотя, конечно, имеются некоторые маркеры того, где они «собираются», например сайты, узлы, домашние страницы и т. д. Иногда таких людей могут «собирать» и власти, например, в тюремных камерах. Но это не решает проблему. Люди, за которыми будущее, «проживают» в пространствах передвижения, составляющих киберпространство. Соответственно, в виртуальных сообществах идентичности оказываются мобильными, люди могут передвигаться из одной фиксированной идентичности в другую и обратно, превращаясь в «электронных кочевников»[34]. Виртуальное, в итоге, оказывается более «реальным», чем само «реальное», фактически учреждая последнее. И при всей реальности тюрем и охранников, они не в состоянии победить виртуальный мир. Их время ушло.

Анализ сетевых пространств конструирования идентичностей и политического действия выводит нас к другому важнейшему феномену современного глобального мира — космополитизму, смысл и перспективы которого все более активно обсуждаются в последние годы. Космополитизм также стал предметом идеологических спекуляций. Скажем, нынешнее имперское сознание в России возродило критику «безродного космополитизма» времен последнего периода правления Сталина. Те же подходы можно наблюдать и в так называемой «идеологии белорусского государства» с ее антиглобализмом и противостоянием «маленького, но гордого народа» всему ополчившемуся против оного народа миру. Правда, и в противоположном, «национальном» лагере можно встретить подобные лозунги, хотя и с другими знаками. Настало время все же разобраться с реальным содержанием космополитизма и космополитической идентичности в современном измерении. Это не только теоретический вопрос, но и

вопрос реальных политических практик. Рассматривая космополитизм, я буду опираться прежде всего на исследования У. Бека[35].

Бек не просто рассуждает о космополитизме в традиционном его понимании. Вопрос ставится им иначе, а именно в контексте переосмысления самой социальной науки и социального познания, или формирования так называемой «космополитической социологии». Опираясь на разработанную ранее теорию глобализации, Бек выявляет тесную взаимосвязь глобализации и космополитизации. Глобализация, как уже отмечалось выше, происходит не «где-то там», а здесь и сейчас, в каждом конкретном месте. Именно такую глобализацию Бек и обозначает как «космополитизацию изнутри»: «“Глобализация” есть нелинейный диалектический процесс, в котором глобальное и локальное существуют не как культурные противоположности, а как соединенные и взаимно порождающие друг друга принципы. Эти процессы не только включают взаимосвязи, пересекающие границы, но и трансформируют социальное и политическое *внутри* национально-государственных обществ. Именно это я называю “космополитизацией”: космополитизация означает *внутреннюю* глобализацию, глобализацию, идущую *изнутри* национальных обществ. Это существенно трансформирует повседневное сознание и идентичности. Глобальные проблемы становятся частью повседневного локального опыта и “моральных жизненных миров” людей»[36].

Заметим, что Бек подчеркивает как методологическое, так и культурно-политическое измерения такого положения. Принцип космополитизма позволяет преодолеть то, что автор называет «методологическим национализмом», т. е. подходом, при котором общество обязательно вкладывается, как в контейнер, в государство, и, соответственно, социальные процессы анализируются только в рамках наций-государств. Определяющей же чертой космополитической перспективы является *«диалогическое* воображение», в основе которого «столкновение культур и рациональностей внутри одной жизни, *интернализованный* другой». А такой методологический принцип оборачивается и иным подходом к социальным практикам, ибо диалогическое воображение соответствует сосуществованию в индивидуальном опыте конкурирующих образов жизни, что делает судьбоносным вопросом сравнение, рефлексию, критику, понимание, соединение противоречивых черт.

Космополитическая перспектива связана, таким образом, с воображением альтернативных образов жизни и рациональностей, включающим инаковость другого. Согласно У. Ханнерцу, «космополитизм есть отношение к самому разнообразию, к сосуществованию культур в индивидуальном опыте. Космополитизм есть прежде всего ориентация, стремление принять Другого. Это интеллектуальная и эстетическая открытость дивергентному культурному опыту, поиск скорее оттенков, чем единообразия. И одновременно он может быть вопросом компетенции как в общем, так и в более специализированном смысле. Имеется в виду состояние готовности, способность принять иную культуру на основе слушания, смотрения, проникно-

вения и осмысления. Речь идет о культурной компетенции в строгом смысле слова, т. е. о навыках постижения особой системы смыслов и смысловых форм».[37] Это значит, что методологический космополитизм отказывается от принципа «или–или» и принимает принцип «и то – и другое» – типа «космополитического патриота», патриота двух миров.[38] Именно в этом смысл того, что Бек называет «космо–логикой», или мышлением и жизнью на языке *инклюзивных противоположностей*. Такое мышление в «движущихся границах» действительно делает нас *гражданами* мира, показывая, что всякое жесткое определение границ есть чаще всего нежелание и/или неспособность видеть иное. Идентичности оказываются все время на пересечении различных культурных и иных полей, т. е. открытыми, обсуждаемыми, инклюзивными. В этом и заключается смысл внутренней глобализации, что оборачивается серьезными этическими вопросами, ибо очевиден кризис легитимации национальной этики исключения. Оказываются под вопросом принципы конструирования внутренних иерархий элементов или состояний.

В политическом измерении это означает выход за пределы жестких политических делений. Представляется, что применительно к Беларуси и авторитарная власть, и старая оппозиция, особенно ее «национальное» крыло, все еще остаются в пределах «методологического национализма», не важно, с каким знаком. Именно в этом несостоятельность и неудача их проектов конструирования идентичности. Интуитивно именно новая белорусская оппозиция, которая стала расти и организовываться «снизу», выразила современные тенденции политики обращенностью к миру, свободе, достоинству индивида, не ограниченным языковыми или национальными рамками. И в таком своем качестве она стала понятной миру, и все более будет становиться понятной массовому сознанию, также интуитивно космополитическому, открытому. Неслучайно такая установка сознания новой оппозиции оказалась той силой, которая, несмотря на все усилия государственных СМИ, стала источником разрушения зомбированного сознания.

Исходя из Бека, можно сказать, что космополитическим (со)общество становится тогда, когда оно начинает рассуждать (воображать) не о прошлом только, но пытаться понять свое место в общем коллективном будущем. Белорусское общество еще только учится мыслить на таком языке. Оно в значительной мере еще в прошлом – досоветском или советском. И все же на площади Кастуся Калиновского, несмотря на ночные морозы, явственно стали прорастать ростки сознания будущего, космополитического сознания, сознания граждан глобального мира, требующих уважения своего достоинства. Бек, кстати, подчеркивает, что космополитизация порождает особые этические проблемы, которые нам еще нужно учиться решать.

Одна из таких фундаментальных проблем заключается в следующем. У людей нет памяти о глобальном прошлом, поскольку такового не было. Воображаемое будущее, а не прошлое, «интегрирует» космополитическую эпоху. В то же время действия людей исходят

из конкретного опыта прошлого, что часто делает их неадекватными глобальному будущему. И это становится фундаментальным противоречием современной социальной жизни. Как раз в Беларуси, я думаю, мы имеем особенно острое его проявление, усиливаемое к тому же элементарной необразованностью политических элит. Все их действия однозначно укоренены в прошлом, а в итоге разрушается национальное будущее. И именно «новая оппозиция» в сетевом и космополитическом измерениях становится знаком и субъектом будущего, принимая за него ответственность. Именно в этом «метафизический» смысл мартовских столкновений на улицах Беларуси: противостояние «стабильного» прошлого и динамического будущего нового поколения граждан мира. Нравится это кому-то или нет, но социальность больше однозначно не привязана к какому-то одному конкретному «месту». Люди могут жить совершенно изолированно от своих соседей и одновременно активно жить в сети, включаясь в совсем иные социальные группы. Именно в результате подобной детерриториализации и мобильности развивается «воображаемое присутствие» (Дж. Ури), что и требует активного развития диалогического воображения. И никакая «идеологическая работа», пытающаяся привязать новые поколения к безнадежно устаревшему прошлому, ничего с этим поделать не сможет.

Очевидно наличие врагов у подобных установок. Бек выделяет три враждебные космополитизму позиции: национализм, глобализм, демократический авторитаризм. Для наших целей особенно интересна третья позиция. При всем ослаблении нации-государства не следует недооценивать, замечает Бек, возможности маневрирования и движения к авторитаризму при сохранении демократического фасада. В этом и выражается суть демократического авторитаризма. Например, если усиливаются тенденции к насилию среди молодежи, то почему бы не ужесточить наказания? Или почему бы, как в случае Беларуси, ради так называемого порядка и корпоративности не уничтожить оппозицию и не превратить выборы в «демократическое» издевательство над выборами? Правда, отмечает Бек, эта тенденция усиливает и космополитическое движение, от которого требуется выдвижение нового политического проекта, ориентированного на свободу, с целью формирования эффективной космополитической мировой политики, исходящей из новой диалектики глобального и локального, не вмещающейся в рамки традиционной национальной политики. Такая политика, полагает Бек, должна опираться и на нового политического субъекта – *космополитические партии*, которые в транснациональном измерении репрезентировали бы транснациональные интересы, также действуя при этом и на арене национальной политики. При каких условиях такие партии могут достичь силы и реального влияния? Ответ на этот вопрос, делает вывод Бек, можно найти только в пространстве политического экспериментирования. Именно в это пространство и вывела нас Площадь.

* * *

И вместо заключения

Это нельзя простить и забыть. Самое отвратительное, что сделала нынешняя власть, – разделила свой народ на «чэсных» и «нячэсных». Большей части народа капитально промыла мозги. Подло оболгала перед ней самых чистых, честных и смелых, не терпящих несправедливости, не умеющих мириться со злом. А ту самую меньшую, «инакомыслящую» часть заставила в каждом встречном видеть возможного провокатора и сотрудника спецслужб. И весь народ заставили бояться и молчать. Бояться ареста, вылета с работы, избиения в темном подъезде. Бояться за себя, друзей и родных. В эти дни мне постоянно звонят знакомые и друзья, спрашивают, на свободе ли я, как себя чувствую. (Из дневника Даны)

Столько ясных и живых глаз я, по правде, не видела в своей жизни. В этом смысле – нас много. Мы просто пока не умеем заражать других. Потому что другие не готовы признаться себе в том, что их глаза не горят, что их жизнь неполноценна, что жизнь – только одна. Или этого не понимают: потому что привыкли к послушанию, готовым решениям, пассивности. (Шпарага О. *Мы есть*)

Каковы же последствия всех этих событий, как они повлияли на меня? Первое, я стал уверен в своей гражданской позиции, в своей правоте и в праве на эту правоту. Второе, я познакомился с огромным количеством единомышленников, людей, близких мне по духу. Я общался с разными людьми в эти дни. И стал лучше понимать и своих друзей, и своих оппонентов (понял, как и почему действуют ОМОН, милиция и другие представители власти). Третье, я перестал волноваться по поводу репрессий и подавления со стороны государства. И вовсе это не больно и не страшно. Нет в этом для меня ничего такого ужасного, нечего здесь бояться – чтобы с чем-то справиться, нужно через это пройти. Четвертое, у меня появилась надежда. Не просто тупое ожидание, когда же все-таки это всё (в политике, экономике, в управлении государством) закончится. А настоящая надежда на улучшения в моей стране. Беларусь не безнадежна, вопрос в том, что мы сделали, чтобы изменить ситуацию и… сколько нас, желающих ее изменить. Это для меня теперь не философский, а технический вопрос. Пятое, я стал в результате этого всего как бы конкретнее, будто я определился и настроился, и теперь не просто созерцаю и размышляю, а задумываюсь о конкретных действиях и об эффективности. (Из дневника Виктора)

Лучше о сути того, как «отмораживание» от господствующей системы превращает подданных в граждан, в граждан не просто своей страны, но и граждан мира, в «диаспоры надежды»[39], не скажешь. Мерзшие в палатках молодые люди и есть знак такого рождения, знак того, что у страны есть будущее в глобальном мире. Они не стали ждать партийных акушерок, они родились сами…

Примечания

[1] Материалы, описывающие реальные процессы, происходившие в Беларуси в марте 2006 г., взяты с *Сайта интеллектуального сообщества Беларуси*, сайта *Наше мнение* и др. Авторы использованных нарративов фактически являются соавторами данной статьи. Всем им я выражаю свою искреннюю признательность.

[2] См. подробный и глубокий анализ роли метафор в современном социальном познании в кн.: Urry J. (2000) *Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century*. London and New York: Routledge.

[3] См.: Touraine A. (2004) *On the Frontier of Social Movements*. Current Sociology. Vol. 52(4).

[4] См.: Touraine A. Op. cit. P. 718.

[5] Ibid.

[6] Castells M. (1997) *The Information Age. Economy, Society and Culture*. Vol. II. The Power of Identity. Malden, MA: Blackwell. P. 4.

[7] См.: Melucci A. (1996) *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. P. 1.

[8] См.: Melucci A. Op. cit. P. 4.

[9] Ibid. P. 40.

[10] См.: Touraine A. Op. cit. P. 722.

[11] См.: Castells M. (1997) Op. cit. P. 6; Giddens A. (1991) *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge, UK: Polity. P. 32–34.

[12] Melucci A. Op. cit. P. 70.

[13] Ibid. P. 75.

[14] См. подробный анализ концепта идентичности в моей статье: Миненков Г. *Концепт идентичности: перспективы определения // Сайт интеллектуального сообщества Беларуси* (http://belintellectuals.com/).

[15] См.: Castells M. (1997) Op. cit. P. 8.

[16] См.: Urry J. Op. cit. P. 15–17.

[17] Castells M. (1996) *The Information Age. Economy, Society and Culture*. Vol. II. The Rise of the Network Society. Malden, MA: Blackwell. P. 469.

[18] См.: Castells M. (1996) Op. cit. P. 470–471.

[19] Appadurai A. (1996) *Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 31.

[20] См. Appadurai A. Op. cit. P. 33.

[21] Мид М. *Культура и мир детства*. М.: Наука, 1988. С. 361.

[22] См.: Laclau E. (1995) *Universalism, Particularism and the Question of Identity*. In: Rajchman J. (ed.) *The Identity in Question*. New York: Routledge; Муфф Ш. *К агонистической модели демократии // Логос*. 2004. № 2.

[23] См. подр.: Delanty G. (2000) *Citizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics*. Buckingem: Open University Press; Isin E. I., Wood P. K. (1999) *Citizenship and Identity*. London: Sage.

[24] См.: Delanty G. Op. cit. P. 5.

[25] См.: Rose N. (2000) *Community, Citizenship, and the Third Way*. American Behavioral Scientist. Vol. 43(9).

[26] Mouffe Ch. (1993) *The Return of the Political*. London: Verso. P. 71.

[27] Mouffe Ch. (2000) *The Democratic Paradox*. London: Verso. P. 26.

[28] Mouffe Ch. (1992) *Democratic Politics Today*. In: Mouffe Ch. (ed.) *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community*. London: Verso. P. 235.

[29] См.: Kaplan P. (1996) *Questions of Travel*. Durham, UK: Duke University Press.

[30] См.: Брайдотти Р. *Путем номадизма* // В кн.: *Введение в гендерные исследования*. Ч. II: Хрестоматия. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001.

[31] См.: Bauman Z. (1993) *Postmodern Ethic*s. Oxford: Blackwell. P. 241.

[32] Mol A., Law J. (1994) *Regions, Networks and Fluids: Anaemia and Social Topology*. Social Studies of Science, 24. P. 643

[33] См.: Rheingold H. (1994) *The Virtual Community*. London: Secker & Warburg.

[34] См.: Benedict M. (ed.) (1991) *Cyberspace*. Cambridge, MA: MIT Press; Makimoto T., Manners D. (1997) *Digital Nomad*. Chichester: John Wiley.

[35] См.: Beck U. (2002) *The Cosmopolitan Society and its Enemies*. Theory, Culture & Society. Vol. 19(1–2); Boyne R. (2001) *Cosmopolis and Risk: A Conversation with Ulrich Beck*. Theory, Culture & Society. Vol. 18(4).

[36] Beck U. Op. cit. P. 18.

[37] Hannerz U. (1995) *Cosmopolitans and Locals in World Culture*. In: Featherstone M., Lash S., Robertson R. (eds). *Global Modernities*. London: Sage. P. 239.

[38] См.: Appiah K. A. (1998) *Cosmopolitan Patriots*. In: Cheah P., Robbins B. (eds) *Cosmopolitics: Thinking and Feeling Beyond the Nation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

[39] Не могу не отослать читателя к тонкому и глубокому анализу интеллектуального и политического смысла данной метафоры; см.: Медвецкий А. *Школа независимости* // Сайт *Наше мнение* (www.nmnby.org).

САМОЗВАНЕЦ: к вопросу о политическом представительстве в этической концепции Бахтина

Татьяна Щитцова

Данная статья является комментарием к нескольким тезисам Бахтина, касающимся сферы политического представительства. Центральным понятием в его видении *проблемы,* своего рода опасности, политической репрезентации выступает понятие «самозванец», которое является *онтологической* характеристикой определенного способа осуществления политической ответственности в социальной жизни. Таким образом, самозванец — это не метафора и, соответственно, не острое словцо в «злободневной» риторике политической журналистики. Речь идет о понятии, содержание которого определяется из концептуальной взаимосвязи онтологии (как учения о бытии сообщества), этики и политики.[1] Это значит, что, говоря «самозванец», мы разоблачаем такой способ политического представительства, который *расходится* с этической ответственностью и вследствие этого вступает в структурное противоречие с плюралистическими принципами конституирования социальной жизни. В 1919–24 гг., когда были написаны интересующие нас работы Бахтина[2], у него перед глазами была своя «фактичность» исторической жизни сообщества, и здесь не место сравнивать актуальную политическую реальность с той, которая мотивировала мысль Бахтина. Я лишь хочу прояснить феномен самозванства, мотивируясь нашей собственной политической ситуацией. Рассмотрение указанного вопроса в онтологической (феноменологической), а не исторической (культурологической) перспективе позволяет при этом в максимальной степени десубстанциализировать нынешнюю власть и говорить о ней с точки зрения актуального горизонта возможностей бытия сообщества, т. е. говорить о ней как об *одной* из возможностей такового, а именно — той, которая требует разоблачения в *его* пользу.

Особенность нашей ситуации, нашего политического «случая» позволяет говорить о связи двух значений самозванства в бытии-друг-с-другом, которые рассматриваются Бахтиным отдельно и в разных контекстах. Одно[3] вводится непосредственно в рамках обсуждения вопроса политического представительства и связано с определенным отношением индивидуума к превосходящему его «большому целому» (к общности, которую он как политический деятель репрезентирует); другое[4] рассматривается как характеристика индивидуалистической тенденции к самодостаточности, превращающей человека, по выражению Бахтина, в «темного стихийно-пассивного частника»[5] в бытии.

Речь идет при этом не о двусмысленном употреблении интересующего нас понятия, а о двух профилях самозванства, которые могут быть выделены в практической жизни.[6] Предлагаемый здесь комментарий к понятию «самозванец» у Бахтина является в таком случае не просто поясняющим, а с необходимостью развивающим, описывая *de facto* такой тип самозванства, который совмещает в себе оба указанных профиля, — этот *онтологический казус* и является темой данной статьи.

Прежде всего, необходимо, хотя бы кратко, разъяснить саму связь онтологии, этики и политики в философской концепции Бахтина. Центральным онтологическим понятием таковой выступает не «бытие», а «событие», понимаемое как *сингулярное* свершение конкретного бытия-друг-с-другом. Участие в событии рассматривается как вопрос («дело») моего отношения к *другому* «в связывающем нас событии». Важно подчеркнуть, что «связь» эта не мыслится как тотализирующая. Событие — это не некое превосходящее меня и другого субстанциальное целое, не тотальность, а сам способ осуществления сообщества, возможный благодаря тому, что Бахтин называет «онтологически-событийной разнозначностью»[7] меня и другого, т. е. благодаря нередуцируемости различия между мной и другим к некоему нейтральному (всеобщему) «третьему». Это различие выступает структурным условием события и имеет, согласно интерпретации Бахтина, фундаментальный этический характер, является этическим различием par excellence. Неизбежность этической тональности — пафоса — события обусловлена тем, что говорить о своей причастности таковому возможно только в перспективе первого лица, т. е. *личного* участия в событии. Собственная вовлеченность в действительную историческую жизнь, фактичность собственного «и я есмь»[8] является исходной точкой понимания события (и для дофилософской практической жизни, и для специальной философской проблематизации). Обращаясь к своей фактичности, я нахожу, что все мое существование подчинено фундаментальному факту «моего не-алиби в бытии»[9], означающему простую и совершенно неумолимую («нудительную», как говорит Бахтин) вещь: коль скоро я уже есмь здесь, в конкретных жизненных связях с другими, никто не может снять с меня *мою* ответственность за происходящее, никто не может отвечать *вместо* меня. Этот факт является конститутивным для самой единичности самости и как таковой вводит в действие изначальную этическую асимметрию (событийную «разнозначность») между мной и другими: мое отношение к ним, к каждому конкретному другому разворачивается «всегда уже» в горизонте моего не-алиби. Это отношение — отношение изначальной ответственности — необратимо.[10] Разговор об ответственности другого, безусловно, легитимный и практически востребованный, оказывается, тем не менее, вторичным, производным, постольку, поскольку движется в плоскости морального эгалитаризма (нормирующей (юридической) всеобщности[11]), ценности которого могут быть обоснованы только исходя из первичного

факта моей необратимой ответственности, позволяющей определить бахтинское понимание человека как бытие-в-ответе.

Для тех, кто хотя бы немного знаком с историей феноменологической философии в XX в., приведенные тезисы не могут не вызвать аллюзий, с одной стороны, с хайдеггеровскими концепциями *Dasein* и *Ereignis*, с другой — с этической философией Левинаса. Здесь не место прояснять параллели и различия между философскими учениями указанных авторов и учением Бахтина, поэтому ограничусь самым общим разграничением их подходов, необходимым для того, чтобы обозначить оригинальность бахтинской постановки вопроса об этическом событии. От экзистенциальной аналитики, равно как и от позднего «событийного» мышления Хайдеггера, философию события Бахтина самым принципиальным образом отличает место вопроса о другом, об отношении к другому в анализе фактического бытия самости и событийности исторической жизни. Для Бахтина говорить о самости («моей единственности»), равно как и о событии, возможно лишь постольку, поскольку имеет место мой ответ другому; без ответного отношения к другому ни самость, ни событие не мыслимы — во всяком случае, фактическая самость и действительное событие. От учения Левинаса философию Бахтина отличает, в свою очередь, именно событийный подход, т. е. рассмотрение изначальной этической асимметрии в ее действенно-историческом значении, в модусе этической *активности*. В этом смысле учение о событии — это прояснение этики *in actu*, или, используя определение самого Бахтина, — *философия поступка*.

Итак, событие выступает изначально как событие раз-личия. Именно благодаря этой структуре оно имеет характер обновления и обогащения исторической жизни: через ответ другому конкретная интерсубъективная связь возрождается, так сказать, на новых началах. Определяющей в бахтинском понятии события является идея «прибыльности», творческого прироста в бытии, т. е. такого осуществления сообщества, которое характеризуется плодотворным обновлением социальных связей. Как таковое событие есть разрыв любой тотальности, любого status quo, любого наличного порядка вещей. Другими словами, событие рассматривается как предельная онтологическая возможность сообщества — не утопия, а *заданность*, определяющая актуальную телеологию фактического «друг-с-другом». В качестве такой возможности событие выступает одновременно *моей* этической задачей — «моей» в той мере, в какой соответствующее сингулярное событие фундируется в моем ответе другому. Само участие в событии возможно для меня только в силу ответа, ответной активности в бытии-друг-с-другом. Ответственность для Бахтина — это вопрос исторического воплощения. Я не создаю и не контролирую событие, я не могу его присвоить, я вступаю в него как в «заданный план моей активности»[12] всегда уже в качестве отвечающего, более того, в качестве *ответчика*, но именно таким образом непредопределимое событие оказывается, тем не менее, делом моей ответственности[13]. Участие в событии описывается у Бахтина как безмерный риск и одновременно высшая серьезность — как главная драматиче-

ская интрига человеческого бытия. Отсюда становится понятно, что само различение онтологии и этики является устаревшим штампом, которого Бахтин как раз избегает, находя новый язык и новый способ концептуализации действительной жизни сообщества.

Поскольку мир, в котором я взаимодействую с другими, рассматривается как «действительный мир поступка» (только через обращение к поступку я могу говорить о мире в терминах события), политическое действие оказывается не просто конкретным примером такового (и уже в силу этого включенным на правах «первой скрипки» в постметафизический проект «первой философии» как философии события), но претендует, как будто бы, на особую миссию в событийном свершении истории, ибо, не стесняясь, заявляет своей целью благо других, процветание сообщества. Однако в этой нескромности, или, как говорит Бахтин, неоправданной гордости кроется как раз та опасность, которая получает имя самозванства. Из рассуждений Бахтина следует, что можно различать два рода политического действия: прямое и опосредованное. Первое осуществляется на основании прямой персональной ответственности, заставляющей меня поступать в конкретных обстоятельствах так, а не иначе[14]; второе совершается в модусе представительства, которое, так сказать, «специализирует мою персональную ответственность», предполагая, что я выступаю не сам от себя, а от «некоего большого целого», как его уполномоченный представитель. Самозванство является способом политической жизни, возможным как раз благодаря функции представительства. Подчеркнем – возможным. Будучи неотъемлемой чертой политической жизни, представительство само по себе не является каким-то пороком, но оно в определенном смысле располагает к самозванству[15], делает его возможным в силу того, что моя персональная ответственность должна выступить здесь не от своего имени, что у нее появляется другой центр тяжести, репрезентируя который она словно вырастает в собственных глазах, обретая весомость, прямо пропорциональную «величине» той целости (определенной коллективной идентичности), которую я репрезентирую. Аморальность представительства тогда можно определить как его притягательность, заставляющую забыть о *прямой* ответственности в пользу ритуализированной репрезентации коллективного целого. «Пытаясь понимать всю свою жизнь как … представительство, – пишет Бахтин, – и каждый свой акт как ритуальный, мы становимся самозванцами».[16]

Этическая проблема представительства заключается, таким образом, в том, что прямая ответственность за свои поступки (т. е. удостоверение своего не-алиби в бытии) должна найти преломление в репрезентации коллективного интереса. Это проблема политического самоопределения как этического акта. Сама связь этического и политического в представительстве является вопросом моей ответственности и, будучи проблематической по существу (т. е. выступая всегда как *задача*), предполагает два возможных сценария: один, когда представительство и уполномоченность «не отменяют, а лишь специализируют мою персональную ответственность»[17], коренятся в ней;

другой, когда момент прямой ответственности меня как единичного субъекта «выпадает, и я остаюсь только специально ответственным», оказываясь, таким образом, *одержимым*[18] своей представительской функцией. Этот второй сценарий и есть как раз случай самозванства: *политическая деятельность, не имеющая референции в этической ответственности*. Превращение политика в самозванца кроется в провале (*импотенции)* этического самоопределения, которое одно только может препятствовать самозабвенному отождествлению себя с репрезентируемым целым. Этическое самозабвение принимает вид политического самомнения. Через такого рода одержимость, подчеркивает Бахтин, ответственность *дереализуется*: «Поступок неоправданно горд, и это приводит только к тому, что [действительность] начинает разлагаться отвлеченно-смысловой возможностью»[19]. Здесь как раз уместно вспомнить о третьем, эстетическом, профиле самозванного способа бытия у Бахтина, который, подобно политическому, также характеризуется несвязанностью этической ответственностью, в чем, собственно, и заключается «соблазн эстетизма» как одной из экзистенциальных возможностей человеческого бытия[20]. Упоминание этой возможности уместно и полезно потому, что именно в эстетической сфере мы находим понятие, позволяющее осмыслить то разложение действительности в отвлеченной возможности, в силу которого реальный политик превращается в некое фантомное образование, а эстетик находит себе прибежище *в роли* собственного «двойника-самозванца»[21], – это понятие воображения. Нужно понять, что если одержимость – это форма патологии (в нашем случае – одержимость «уполномоченностью», т. е. одержимость властью), то воображение имеет ретроактивный характер: оно заполняет разрыв между этической импотенцией (моральным уродством?) и высокой политической миссией, питая патологическое самомнение «слуги народа». Как таковое оно имеет своим источником коллективное бессознательное и, будучи патологией в пределах вменяемости, находит приложение своей «продуктивной силе» не в чеховской палате, а в публичной сфере.

Самозабвенной гордости такой дереализованной – т. е. ущербной в этическом отношении – политической ответственности Бахтин противопоставляет смирение: «Нужно смириться до персональной участности и ответственности»[22], – говорит он, имея в виду политическое представительство. Смирение здесь не знак пассивности, а ровно наоборот. Оно означает постоянное возобновление этического самоопределения, т. е. непреклонное возвращение в сам*о*й своей представительской функции к этической ответственности перед другими в конкретных обстоятельствах и в этом смысле – сопротивление тому, чтобы «забыться» в ритуальных жестах «уполномоченного представителя». Вспомним, что этическое самоопределение понимается Бахтиным не как некий имманентный (трансцендентальный) акт, а как фактическое конституирование самости через ответ другому. Самость носит реляционный характер, что было зафиксировано выше в определении человеческого бытия как бытия-в-ответе, фиксирующем не-

редуцируемый этический смысл человеческой жизни. Смирение осуществляет, таким образом, постоянное *различение* представительской функции, наделяющей меня как этическую самость (как личность) определенными полномочиями и позволяющей выступать от имени «большого целого», и моей *единичной* этической позиции («места в бытии», как говорит Бахтин), незаместимость которой означает ее принципиальную партикулярность и относительность — необходимость определяться в бытии-с-другими в качестве отвечающего, *ответчика*, удостоверяя, таким образом, ответственность, заключенную в самом факте *моего* не-алиби в бытии. Одержимость самозванца означает как раз этическую неспособность проводить такое различение, отделять себя как единичную самость от выполняемой функции. Одержимость уполномоченностью оказывается обратно пропорциональной *этической* вменяемости такого субъекта: чем меньше он обнаруживает способность к этическому самоограничению в отношениях с другими, тем больше его амбиции как «уполномоченного представителя».

Можно, конечно, предположить, что где-нибудь в «тиши кабинета» некая тоска по указанному различению, смутное беспокойство или особого рода меланхолия напоминают такому самозванцу о его собственной единичной самости в ее голой *неуполномоченности*. Но это уже, скорее, сюжет для психоаналитика, который, наверняка, нашел бы данный случай «любопытным» в своей психотерапевтической практике. Меня же сейчас интересуют исходные этические основания политического самоутверждения такого «деятеля», сам способ его бытия как политической фигуры. В этой связи заключения психоаналитика тоже представляли бы безусловную ценность. Таковой мог бы, например, указать, что посещающая иногда его пациента «смутная тревога», вызванная этической ничтожностью его самости, согласно законам психической жизни должна быть непременно компенсирована утверждением собственной политической значимости и исключительности, и что фундаментальный характер этой тревоги, ее неотвязность могут сообщить политической деятельности (рассматриваемой в аспекте компенсаторной функции) параноидальные черты. Возможно, он даже поведал бы нам, что главным кошмаром, который неотступно мучает его высокого клиента, является андерсоновский голый король.

Этическая работа смирения заключается, таким образом, в постоянном *разоблачении* неоправданной гордости собственного представительства. Она не позволяет самовозвеличиться и застыть («забронзоветь», как метко подсказывает слэнг) на пьедестале уполномоченности, откуда не может разворачиваться этический диалог с другим, а могут лишь поступать «ответственные» распоряжения, установления от имени символизируемого целого, обретающего в лицемерном самомнении самозванца тоталитарные черты. Смириться значит соступить с пьедестала, проявить этическую сдержанность, противопоставить безнравственной одержимости властью собственную этическую вменяемость, т. е. признание того, что в любых обстоятельствах твой номер *второй*, что ты «всегда уже» отвечаешь другим и перед дру-

гими. Смирение – это утверждение *своего* партикулярного места в бытии. Как только оно становится фантомным местом на пьедестале, оно пресекает возможность этического отношения к другим, становясь тем самым местом самозванца.

Вернемся еще раз к понятию события у Бахтина. Как онтологическая возможность сообщества – возможность плодотворного обновления интерсубъективных (социальных) связей – событие основывается на принципе ответа как ответственного участия в жизни конкретного сообщества; в этом смысле оно, как было отмечено, является этической задачей фактической самости. Самозваный способ бытия интересует в этой связи Бахтина как фактическое препятствие осуществления события, как причина стагнации и обеднения в бытии, деградации социальной жизни. Благодаря властным полномочиям самозванец, устанавливая вертикальное правление, нарушает структурное условие событийного обновления сообщества – плюралистическое раз-личие в бытии-друг-с-другом. Амбиция самозванца в том и состоит, чтобы воспрепятствовать полифоническому принципу формирования социально-политической реальности (публичной сферы) и подчинить таковую авторитарному – монологическому – правлению, в котором голос «народного избранника» фантазматическим образом отождествляется с голосом самого народа. Цена такого представительства – тотальное узурпирование права других на политическое событие, инициативное обновление социально-политической жизни, ответное участие в таковой, трансцендирующее существующий порядок в пользу творческого обновления сообщества. Неспособный к продуктивной политической деятельности на условиях этической сдержанности и самоограничения самозванец компенсирует этот «дефект», присваивая себе («беря в свои руки») на правах «уполномоченного» генеративную (производительную, порождающую новое) способность сообщества как таковую и полагая ей тем самым абсолютный предел в лице своего политического самомнения.[23]

Здесь как раз и вступают в силу характеристики, описывающие второй профиль самозванства у Бахтина, о котором упоминалось вначале. Будучи адресованы в его анализе частному лицу, чья позиция в жизни определяется этической пассивностью, т. е. дистанцированностью по отношению к любым этическим требованиям в претензии «самодовольно пребывать в своей наличности»[24] – в «самозванстве данности»[25], как говорит Бахтин, – эти характеристики становятся определяющими чертами узурпатора, автономность которого является автономностью того самого «стихийно-пассивного частника», который самодовольно заправляет своим «приватным хозяйством», тешась собственной самодостаточностью. В рамках событийной трактовки человеческого бытия и сообщества такое «удивительное» самодовление определяется у Бахтина как «бытие лжи или ложь бытия»[26]. Изобличение этой лжи – разоблачение самозванца – является необходимой политической задачей общества, желающего вернуть себе возможность события. Публичность такого разоблачения и стала бы знаком события, возрождения общества к новым возможностям.

Я хочу указать и на особый этический смысл такого разоблачения, извне выполняющего работу смирения, на которую сам самозванец патологически неспособен. В экзистенциально-этическом плане такое разоблачение могло бы (в идеале, конечно, и опять же, наверно, не без помощи психоаналитика) привести субъекта к освобождению от одержимости властью, этическому раскаянию и… пробуждению к новой жизни. И если это возможно себе представить, то не является ли нашим этическим долгом помочь «ближнему» обрести свободу?

P. S. Возможно, стоит еще раз подчеркнуть, что рассмотренное здесь понятие самозванства является в определенном смысле *априорным*, т. е. выступает условием возможности соответствующего социального поведения. Согласно проведенному анализу, в строгом феноменологическом смысле, человек называется самозванцем не потому, что он незаконным образом изменяет конституцию, чтобы оправдать свое правление, а он поступает так потому, что самозванство является способом его политической жизни. Человек может, пишет Бахтин, существовать «на молчаливой основе своего алиби в бытии»[27]. Речь идет о существовании, *не признающем над собой суда другого человека*.

Примечания

1 Сегодня это уже хрестоматийный факт, что постметафизическая трансформация философии привела к такому переопределению «места» вопроса о бытии, которое сделало невозможным его абстрактную (отличенную от вопроса о сущем) тематизацию. Вследствие этого «знаком времени» стали такие проекты «первой философии», в которых «онтологическое», или же «метафизическое», мыслится как измерение, открываемое самой плюральностью (дифференциацией) сущего (личностей, сообществ, культур, наций, партий и т. д.). Левинас, Нанси, Касториадис, Хабермас — вот только несколько имен, которые можно упомянуть в этой связи.

2 *К философии поступка* и *Автор и герой в эстетической деятельности*.

3 Бахтин М. М. *Работы 1920-х годов*. Киев, 1994. С. 50–51.

4 Там же. С. 185–188.

5 Там же. С. 188.

6 Есть еще и третий, *эстетический*, профиль, к которому мы вернемся позднее. См.: Бахтин М. М. Цит. соч. С. 24.

7 Там же. С. 66.

8 Там же. С. 17.

9 Там же.

10 См.: там же. С. 67.

11 См.: там же. С. 30. Это один из пунктов критики Бахтина в адрес моральной философии Канта.

12 Там же. С. 67.

13 Бахтин пишет: архитектоника события (т. е. структурное различение меня и другого. — *Т. Щ.*) «дана и задана… Она не дана как готовая и застывшая, в которую я помещен пассивно, это … архитектоника, непрестанно активно осуществляемая моим ответственным поступком, поступком возводимая и только в его ответственности устойчивая» (там же).

14 Бахтин не проясняет эту возможность, она остается имплицитным моментом его обращения к теме политического акта. Ясно, что речь идет о политическом действии, *мерой* которого является изначальная этическая асимметрия. Впоследствии, как известно, Левинас (в *Тотальности и бесконечном*, в частности) пытался по-

казать, что «человечность» социальных институтов, государства в целом определяется из этого первичного этического отношения к другому, а в более поздней работе (*Иначе чем быть, или По ту сторону сущности*) подошел к этой проблеме с другой стороны, открывая в самом отношении к Лицу измерение, связывающее мою ответственность перед ним с межчеловеческим вопросом справедливости — другими словами, открывая политическое в этическом. Проблема взаимодействия этического и политического выступает, соответственно, как проблема «третьего» в межличностном отношении, которая тезисно была зафиксирована и у Бахтина. В данной статье мы не затрагиваем ее, сосредоточиваясь исключительно на той особой форме политической ответственности, которая (в силу самозванства) требует этического разоблачения. Конфликтная взаимосвязь этического и политического остается, таким образом, фоном наших рассуждений.

15 На строгом философском языке речь идет о представительстве как априорном условии возможности политического самозванства.

16 Бахтин М. М. Цит соч. С. 50.

17 Там же.

18 Там же.

19 Там же. С. 51.

20 Тема, возникшая у Бахтина, конечно же, под влиянием философии Киркегора (учения о трех стадиях существования: эстетической, этической и религиозной).

21 Бахтин М. М. Цит. соч. С. 24.

22 Там же. С. 50.

23 О том, насколько подобное узурпирование находит для себя почву в национальном этосе, см.: Щитцова Т. *Под патронажем: авторитарный режим в свете культурной антропологии // Топос*. 2005. № 1(10). С. 19–28.

24 Бахтин М. М. Цит. соч. С. 187.

25 Там же. С. 186.

26 Там же. С. 187.

27 Там же. С. 44.

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО-БЕЛОРУССКИ

Андрей Горных

Надо относиться с абсолютным
и тотальным недоверием ко всему,
что предъявляет себя как возвращение.
Мишель Фуко

Выбирая особый путь развития, Беларусь постоянно оглядывается на советское прошлое. Беларусь лелеет надежду, что возвращение всего лучшего из этого прошлого, и без того обеленного до режущей глаз сталинской «белизны кительной», есть ее способ продвинуться в будущее. Оставим пока в стороне вопрос о будущем, которое независимо от всяких идеологических фантазий неумолимо навязывает нам свою логику, и зададимся вопросом о прошлом. О том прошлом — будь то золотой век или первобытный коммунизм, — которое служит фундаментальным источником утопических импульсов для различного рода идеологий альтернативного капитализму будущего. Ведь белорусский выбор помимо более-менее ясных параметров возвращения Советского (социальные гарантии, командно-административная система, ореол величия и т. д.) имеет второе дно смутных чаяний возвращения чего-то большего: в глубинах идеологии возвращения к Советскому тревожно шевелится то, что с таким впечатляющим провалом пытался вернуть сам советский проект. В умах отечественных идеологов это «нечто» вырисовывается как возвращение к утраченному Единству, замешанному на народности и духовности. В каком смысле различные новообразования этого Единства в своем существе оказываются муляжами, прикрывающими формирование общества потребления, которое собственно и возвращается в искаженно-утрированных формах сквозь советский и псевдосоветские идеологические проекты?

***

В § 84 *Веселой науки* в вопросе о происхождении поэзии Ницще неожиданно встает на сторону утилитаризма. Для него поэзия в своем истоке оказывается не воплощением индивидуальной свободы духа, потусторонней всякой земной полезности, но вполне функциональной социальной практикой. Практикой особого, принудительного выбора слов, ритмической переплавки «атомов» речи, делающей речь «отдаленной», чужой.

Польза принудительного выбора слов определяется прежде всего тем, что в своем ритуальном истоке поэзия является способом встречи с сакральным, презентации божеств. Сам прими-

тивный коллектив в форме ритуала становится живым медиумом, посредством которого боги «выговариваются» до конца. В архаической поэзии, в ритуальном коллективном действе яростная одержимость бога, говорит Ницше, доводится до крайней степени, до безумия: «Все оргиастические культы силятся внезапно разрядить ferocia какого-либо божества и превратить ее в оргию, дабы вслед за этим оно почувствовало себя свободнее и спокойнее и оставило человека в покое»[1]. Боги презентируются на ритуальной поверхности в виде ансамбля танцующих масок, в виде первоозначающих, находящихся в процессе извечной внеприродной комбинаторики. Ритуальная встреча с божеством травматична, она оставляет после себя остаток несимволизированного Реального (предельного, каннибалистически-инцестуозного опыта слитности, единства), на котором паразитируют фигуры личностных фетишей (Вождя, Жреца, Деспота).

В этом неприкрытом, невозможном для индивидуального опыта ритуальном явлении божества держит речь Другой, не оставляя места для чего-либо похожего на индивидуальный выбор (подобно тому как в сновидении индивид не выбирает что ему «смотреть» — нечто ему показывается «само», и это зрелище буквально ничтожит эго, оставляя на его месте блуждающие пятна тревоги и наслаждения). Здесь поэзия является не текстом со скрытым уклончивым значением, а практикой анти-индивидуализма, здесь «ритм есть принуждение; он вызывает неодолимую тягу к податливости, соучастию; не только ноги, но и сама душа начинает идти в такт…»[2]. Проблеск интенсивного группового единства — вот тот сон наяву, в котором индивид встречается с истиной своего желания. Это единство воплощается в слепой стихии ритмического коллективного произнесения («мелоса») перед лицом божества — ужасающего, приносящего наслаждение, распадающегося, оргиастически инкорпорируемого.

Всем этим управляет Порядок слов (Миф), который выбирает и расставляет самих индивидов в социальном пространстве как в поэтическом тексте, определяя их «значения» — взаимосоотнесенность и взаимообратимость их позиций. Этот символический порядок функционирует не только в экстатике ритуала, но распространяется и на повседневную жизнь: достаточно вспомнить описанные в антропологии структуры родства (К. Леви-Стросс) и структуры примитивного экономического обмена (М. Мосс, Б. Малиновский), в которые индивид включен на правах «термина», непрерывно циркулирующего по определенным правилам и всегда имеющего различных «двойников».

Этот порядок слов носит существенно поэтический характер. Сущность же архаической поэзии (магических формул, священных гимнов, мифологических сказаний), согласно бодрийаровскому прочтению теории анаграммы Соссюра, заключается в двух моментах. Во-первых, она представляет собой плотную текстуру соответствий, формальный сгусток взаимности: все слоги аллитерируют или ассонируют, звуковые группы перекликаются между собой, целые стихи представляют собой анаграмму других стихов и т. д. Во-вторых, как таковая она возникает на «месте» травматической встречи с боже-

ством и образует символическое, протосоциальное поле, в котором кристаллизуются социальные структуры. Имя божества в ритуальных формулах и гимнах не просто анаграмматически шифруется, будучи разнесенным по слогам и буквам по всему стиху. «Скорее это раздробление, рассеяние, расчленение, – говорит Бодрийар, – в котором это имя уничтожается. В общем, здесь имеет место эквивалент умерщвления бога или героя при жертвоприношении – в плане означающего, в плане имени, которое его воплощает. Только будучи расчленен, дезинтегрирован жертвенной гибелью (а иногда и физически растерзан и съеден), тотемный зверь, бог или герой циркулирует далее как символический материал для интеграции группы».[3] Первометафора Имени бога, пластическая, оргиастическая речь божества поставляет символический материал для интеграции группы.[4] Поэзия представляет собой не послание со скрытым смыслом, но код воспроизводства социальной связности, практик жертвоприношения.

Жертвоприношение предполагает избыточное наслаждение и оргиастический ужас, невосполнимую растрату и сверхкомпенсацию. В жертву приносится самое дорогое в прямом и переносном смыслах. Различные практики жертвенности предполагают иррациональную растрату накопленных материальных богатств перед лицом другого (будь это дар-поединок при обмене между индивидами или между группой и божеством). Но горизонтом этой растраты выступает убийство главного божества, Отца, Прародителя, которое является точкой кристаллизации социальной структуры. На месте «убитого» прародителя возникает первоозначающее, «меон запрета», как называет его Лакан, обретающий фантазматическую плоть изначального объекта фобии. Объект фобии функционирует как невозможное, непроизносимое имя, вокруг которого разворачиваются процессы непрямого именования, метафоризации и культ личностных фетишей.

Поэтика примитивной жизни предполагает ритмическую растрату материальных ценностей по модели поэтического выбора слов. Ведь сущность такого выбора, по Бодрийару, состоит в том, что каждый новый слог, слово, строфа уравновешивают, погашают, уничтожают предшествующие, служат ответным даром, в котором без остатка растрачивается «вещество» обмена. Этот вербально-экономический поэзис представляет собой безостановочное движение смысла, не оставляющего накапливающихся осадков значения (ценности), не допускающего зазоров толкования. Это текст, который не нуждается в интерпретации. Текст, который в пределе есть само свершение «отцеубийства» (травматическое столкновение с Реальным) как начало всякой символизации.

В универсуме архаического сообщества перед лицом божества вещи циркулируют как знаки (знаки отношения, знаки различия), а слова как вещи имеют непосредственную ценность. И слова и вещи обращаются по одним поэтическим правилам. Слова как символические ценности беспрестанно циркулируют в замкнутых социальных контурах (семья, клан, община) примитивных сообществ, стирая в этом движении свою противоречивую природу («отцеубийство», уничтожение

Первоимени). В *Структурной антропологии* Леви-Стросс указывает на то, что архаическое слово в качестве «немедленно предлагаемой ценности» становится непосредственно социальным метафорическим образованием, оно «приобретает противоречивый характер, нейтрализация которого возможна только путем обмена взаимно дополнительными ценностями, к чему и сводится вся социальная жизнь».[5] Этот символический обмен препятствует аккумуляции ценности в каком-либо из индивидуальных звеньев социального контура, в отличие от капиталистического, «прозаического», алгоритма личного обогащения.

Но дело в том, что «бог умер». В одной из передач белорусского агитпропа страницу из *Веселой науки* Ницше с этой фразой, жирно подчеркнутой карандашом, совали крупным планом в лицо зрителю чуть ли не как документальное свидетельство сатанинской природы всего Запада и смысла белорусского противостояния ему. Между тем тезис о «смерти бога» может быть переформулирован более доступно для идеологических святош и начетников разного толка: «Все мы уже не представляем материала для общества: вот истина, которая вполне своевременна! Мне нет дела до того, что временами еще самый близорукий, возможно честнейший, но во всяком случае скандальнейший тип человека, из ныне существующих, наши господа социалисты верят в почти противоположное...»[6].

Современный человек больше не связывает свою судьбу со словами, не является поэтическим «материалом» социального текста. Он полагается больше на вещи и самую вещественную из всех вещей — деньги. (А как только в сознании слова замещаются цифрами, и у цифр начинают расти нули, «шутит» Жванецкий, — жди неприятной развязки.) И не о том ли самом — о событии, которое еще не осознано, но уже свершилось, — предупреждал Ницше устами безумного человека из *Веселой науки*? О событии фундаментальной депоэтизации социума, когда на место «жизни», «потока событий» приходит причинно-следственная расчлененность, фрагментаризация единств, калькуляция выгод и господство серого маленького человека. Не должны ли мы в этом диагнозе услышать не только хайдеггерианскую констатацию «забвения бытия», связанного с утверждением нововременного инструментального разума, но конечный эффект невидимой, повседневной работы товарно-денежной формы, радикально трансформирующей алгоритмы символического обмена, социальной метафоризации.

Фигура сакрального обеспечивала интегрированность индивида в групповые структуры, качественно более высокую, нежели современные поборники единства (политического, национального, государственного) могли бы себе представить. Но она была органической частью символического обмена, мифопоэтического Порядка слов, с распадом которого она претерпела существенные и необратимые деформации. Потомок «социалистов», отечественный сторонник политических программ, которые в той или иной мере задействуют утопические мотивы возрождения органических форм социальной общности, является, в соответствии с точным диагнозом Ницше, «воз-

можно честнейшим» типом человека, но типом настолько близоруким (недалеким, пошлым), что все его благие помыслы оборачиваются постыдным скандалом.

Мы живем в мире с совершенно другими «пространственно-временными» характеристиками социума – в мире товарно-денежного обмена. В эпоху выбора слов индивид сам был говорящим «словом» в мифопоэтическом пространстве речи Другого. Он носил бога как маску, делавшую его «видимым» для своих и прикрывавшую от дурного глаза. В эпоху товарно-денежных отношений основным, антропологическим, если так можно выразится, свойством индивида является то, что он накапливает индивидуальное богатство и выбирает вещи (и прежде всего такую «вещь», как самость) в бесконечных актах «непринужденного» консюмеристского выбора. Бог предполагается сокрытым глубоко в недрах индивида, ибо в анонимной среде рынка индивид, по сути, не интересен другим, а более дурного глаза, чем собственное отражение в зеркале, для него, похоже, не существует.

В архаическом сообществе индивид мог быть группой, мог быть божеством, мог в коллективном мифопоэзисе презентировать себя как Другого. Теперь каждого из нас постоянно репрезентируют политики и масс-медиа. Даже в измерении искусства или разговоре по душам мы сами бесконечно пытаемся представить самих себя как «психологическое существо» (которое в идеале призвано само «без слов сказаться»): как некоего внутреннего невнятного, не могущего говорить самого за себя гомункулуса. В современную эпоху индивиды становятся объектами различного рода форм репрезентаций: эстетической, политической, масс-медийной. На место личностного фетишизма Вождя, Монарха заступают различные режимы репрезентации, матрица которых задается товарным фетишизмом – тем способом, каким деньги представляют общественный труд, общественные отношения.

К. Маркс в *Капитале* следующим образом формулирует суть товарного фетишизма: «Величины стоимостей непрерывно изменяются, независимо от желания, предвидения и деятельности лиц, обменивающихся продуктами. В глазах последних их собственное общественное движение принимает форму движения вещей, под контролем которого они находятся, вместо того чтобы его контролировать»[7]. Меновая стоимость вещи в данном случае определяется в рыночной «системе вещей», в стихии спроса и предложения, а не в прямом отношении людей. Если в системе традиционного рынка, на котором встречались производитель и покупатель, стоимость вещи во многом определялась процессом торговли, еще содержащим в себе архаические черты личностного поединка, будучи не чуждым слову, в капиталистическом рынке «стоимость некоего товара, которая в действительности является проявлением системы общественных отношений между производителями различных товаров, принимает форму квази-“натурального” свойства другой вещи-товара, то есть денег»[8]. Деньги – это тот фетиш, который заступает на место метафоры («божественного имени») в качестве базового алгоритма социальных отношений.

Благодаря форме всеобщей эквивалентности деньги так представляют товары, что они сами становятся бледными копиями, случайными воплощениями денег, но именно это позволяет им образовать систему вещей, замещающую систему людей. Иными словами, вещь как меновая стоимость в рыночном универсуме мириадом связей взаимосвязана со всеми другими товарами, является функцией, исчислимым «двойником» любого другого товара, в то время как традиционное общество распадается на атомизированных рыночных контрагентов.

Деньги – это такая форма социальных отношений, такая культурная логика, которая прежде всего принуждает индивида выбирать самого себя в каждом акте выбора товаров (тогда как выбирать человек может только другого посредством слов). Я – это «я сам»: таков эффект системной дисфункции символического обмена, приводящий к оседанию и аккумуляции, застыванию ценности на уровне индивида.

Метафорическое слово – это отношение, мост через символическую негативность; это «бинарная оппозиция», еще не ставшая логической схемой и хранящая в своих глубинах травматическое ядро в качестве третьего термина метафоры; это «трепещущая клетка символизма» (Лакан). Оно вовлекает индивида в круговорот символических обменов, самоценного воспроизводства социальной связности. Выбор метафорических слов определяет и переопределяет самого выбирающего. Последние исторические практики выбора метафорических слов знакомы современному человеку в виде модернистской поэзии, где индивид-автор воспроизводит игру коллективных форм на пустом листе бумаги, в отчаянном одиночестве, посреди дезинтегрирующегося и десакрализирующегося мира. Последний поэт эпохи Иосиф Бродский суммировал парадокс модернистской поэзии в виде высказывания, звучащего как смертный приговор: он называл поэзию самым древним видом частного предпринимательства. Архаический телесно-коллективный поэзис «соучастия» (и страха, и тирании) в эпоху модерна переживается как предельная область индивидуальной свободы, что является компенсаторной формой утраты того «коренного чувства» поэтики, о котором постоянно говорил Ницше.

Но именно этот поэтический импульс тлел под жарким солнцем тоталитарного деспотизма – низменного истока любой «прекрасной эпохи» – в глубинах советского проекта. Ведь «Советское», помимо того дикого скандала, который на весь мир устроили наши отечественные близорукие «социалисты», это еще и попытка обновить социальное, антропологическое измерение поэзии. Это артистические жесты левого авангарда 1917–1930 по проведению культурной политики в самом широком смысле слова: по стиранию грани между искусством и жизнью, по производству слов как новых ценностей, человеком для человека «сделанных вещей» (поэтика русского формализма). Это коммунальная интеллигентская культура 1960-х с ее поэтикой нестяжательства, коллективных растрат и, разумеется, интенсивным циркулированием поэзии. Это попытки уклониться от дик-

тата товарно-денежной формы, жить без денег или как если бы их не было.

Не кто иной, как Сталин, в начале 1930-х провозгласил «моду на деньги», по сути легитимировал «консюмеристскую контрреволюцию», а затем в самой примитивной форме вернул и прочие буржуазные ценности XIX века: тяжеловесный архитектурный классицизм, литературный и живописный реализм вместо социального конструктивизма эстетического авангарда, «знатные» и «зажиточные» рабочие и колхозницы под руководством Партии вместо равных, самоуправляемых ассоциированных коммун и т. д.

Вот как описывает сталинский буржуазный ренессанс Мишель Фуко, один из самых чувствительных к скандалу с советским социализмом интеллектуалов: «Социалистический реализм вовсе не равноценен западной живописи, взятой в целом, однако он невероятно напоминает академическую и помпезную живопись 1850-х. Это был комплекс рождающегося марксизма, ибо марксизм всегда мечтал иметь и искусство, и способы выражения, и общественный церемониал, в точности подобные тем, что имелись в распоряжении торжествующей буржуазии 1850-х годов. Речь идет о сталинском неоклассицизме»[9]. Советская система по существу не затронула элементарные отношения капиталистической власти[10], равно как и общую логику накопления капитала[11].

Не в последнюю очередь благодаря отечественным «близоруким социалистам» (а проще – необразованным самодурам из глубинки) революционный советский проект не то чтобы качественно не трансформировал Порядок обменов, а вообще выродился в бесконечное более или менее идеологически маскируемое стремление «догнать и перегнать Америку», в гонку за благосостояние «простого человека», отвлекаемого от скуки мелочного поступательного обогащения претензиями на глобальное доминирование. Опыт СССР показал, что реанимация чего-то похожего на архаическую поэтику коллективных форм (со всеми народно-духовными вариациями) в модернизированных обществах оборачивается худшими рецидивами личностного фетишизма, вплоть до разнообразных форм тоталитаризма.

В карикатурно уменьшенном масштабе и в новом формате позднего капитализма эта скандально проваленная советская утопия возвращается. Не космические или ядерные ракеты, не мировые шедевры советской литературы и кино, а местные поп-звезды и спортсмены призваны заставить униженно замолчать весь мир и склониться перед белорусским выбором. Светлое будущее не рисуется качественно новым состоянием общества, но измеряется, и измеряется уже не миллионами тонн стали или даже свининой на душу населения, но чем-то гораздо более внятным для современного обывателя – среднемесячной зарплатой. Вот оно, ядро «особого» белорусского выбора: 100, 200, 250 и, наконец, в качестве утопического горизонта воображения, 500 долларов в месяц на душу среднестатистического белоруса. На фоне распада публичной сферы, систематического выдавливания из социальной жизни различных элит рост количественной

кривой индивидуального дохода обнажает стержень белорусской жизни – индивидуальное накопление, лишенное последних признаков символического обмена. Все различие с «проклятым Западом» в номинале, а не в принципе. Беларусь с деревенской прямотой обнажила то, что умудренный опытом и культурными традициями капитализм предпочитает держать хорошо прикрытым. А в это время хитроумные кремлевские идеологи все еще мудрят, пытаясь в стратегемах типа «государственное единство» или «удвоение ВВП» удержать какой-то остаточный смысл коллективного проекта, измерение общего дела. На дворе постмодерн, поэзия не нужна, Стиль умер, но даже на этом фоне Беларусь отмечена какой-то особенной степенью отсутствия стиля и депоэтизации всей социальной жизни и мышления.

Находясь на другом полюсе от докапиталистического, «слепого» поэтического опыта коллективных форм, мы делаем «зрячий» выбор, оставаясь один на один с экраном телевизора и своим частным интересом. Более того, можно сказать, что белорусская политическая репрезентация становится формально неотличима от модели консюмеристского выбора ширпотреба. Популистская гегемония постмодернистского бренда переносится в политическую сферу.

В Беларуси уже год идет беспрецедентная рекламная кампания «ЗА Беларусь». Иные дома увешаны двумя и более огромными плакатами «ЗА Беларусь». Никакой *кока-коле* или *адидасу* не снилась такая продолжительность и такая визуальная плотность рекламной акции. Уже прошли конкретные поводы, для которых был изобретен нейролингвистический молот «ЗА…» – референдум, выборы. Но количество плакатов на улицах, похоже, только увеличивается в числе и новых иконографических вариациях одного и того же идеологического мотива. Крестьяне в национальных костюмах удовлетворенно отирают трудовой пот, после чего отправляют традиционные белорусские ритуалы, космополитичные рабочие с улыбкой квалифицированно производят продукцию, смело смотрит в будущее радостная студенческая молодежь, хохочут от счастья дети… Картинки, картинки, картинки, которые множатся на БТ, биг-бордах, сити-лайс, огромных растяжках и небольших агитплакатиках, как опавшая листва, покрывшая скудную визуальную поверхность периферийных публичных пространств Беларуси. Эти картинки пытаются исчерпать весь набор белорусских социальных типажей и визуальных топосов белорусской жизни. Они отражают друг друга, подкрепляют друг друга, не пропускают в свой круг ничего идеологически и стилистически инородного. Они плотно обступают избирателя-потребителя, оставляя его в немоте один на один с собой, выключая его из публичного пространства диалога, критики, суждения вкуса. Они создают ту самую постмодернистскую симулятивную гиперреальность, которая является органической средой для общества потребления.

Становится понятно, что подлинным объектом данной рекламной мегаакции является не что иное, как мудрая политика и исключительная личность президента Лукашенко. Но в эпоху бренда «товару» уже нет необходимости везде обязательно светиться лицом.

Характерные красно-зеленые жирные буквы «ЗА» — это уже и не буквы, а логотип, закорючка бренда, подобно завитку «Найка». Вписываясь в иконографию стабильности и процветания, этот логотип без указания имени и свойств вполне четко коннотирует означаемый объект, красноречиво присутствующий в формах собственного отсутствия. В белорусской уличной политрекламе мы видим всех — все социальные слои и возрасты — не видим лишь Самого: меньше культа личности — больше культа бренда. Это легче и эффективнее продвигать на современном рынке электоральных услуг. Избиратель хочет не личностей или концепций, а непротиворечивой картинки, которую он в состоянии в одиночестве усвоить.

Разве не то же самое происходит, когда в ореоле исключительности и «врожденных» лидерских качеств нам визуально репрезентируются сникерсы или колгейты: радостные картинки застывшего стабильного счастья с завитками логотипов и слоганов. Никаких контррепрезентаций или дискуссий о вредности фаст-фуда или пива — только безальтернативный позитив в идеально выверенном, повсеместно навязывающем себя формате. Все негативное или альтернативное вытеснено в гетто «оппозиционных» малотиражных или специально-научных изданий. Безликие «оппозиционные» аналоги рекламируемого товара (зубной щетки, моющего средства и т. д.) мгновенно и с позором устраняются с экрана перед лицом неоспоримого совершенства товара № 1, стоящего на качественно ином уровне. Реклама принуждает нас выбирать и без того очевидное преимущество, ставит перед лицом «выбора» между Добром и Злом, а не между двумя более или менее адекватными, в меру ошибочными путями.

Белорусский обыватель поневоле становится преданным своему отечественному бренду (brand loyal). Важнейшим фактором конституирования постмодернистской культурной идентичности является наличие глобального экспортного бренда. Америка сегодня — это «Кока-кола», «Голливуд» и «Майкрософт», Германия — «Мерседес», Финляндия — «Нокиа» и т. д. Это первое, что приходит в голову, элементарный различительный признак в транснациональном мире. И Лукашенко воплотил в себе существенные элементы этой постмодернистской идентичности: мы уже не анонимная часть СССР и не меньший брат России, мы страна-с-Лукашенко. Пусть это не «высокая», а политическая технология, но она известна в глобальном масштабе и приносит известные экономические дивиденды.

На заре российского капитализма реклама одной скандально знаменитой компании была построена на одном слогане: «Это — отличная компания... отличная от других компания». Этот слоган простодушно выдавал сущность нового бизнеса: важно не столько превосходство в качестве, в классе, сколько выделенность, отличность продукта от остальной товарной массы. Точно так же в масс-медиа хорошая новость — это плохая новость: информация, выпадающая из нормального течения событий, цепляющая глаз деформация привычной картинки. Для среднего потребителя скандал с телезвездой или новая форма бутылки прохладительного напитка выступают достаточными

основаниями, чтобы смотреть и пить, потреблять это. Для массового избирателя идиосинкразия и откровенная неадекватность политических лидеров входят в потребительные свойства «товара». Ведь избиратель так устал от самого себя, от того неразрешимого выбора, который навязан ему в плоскости товарно-денежного обмена: выбора депоэтизированного «накопления» самого себя без участия другого.

С другой стороны, постмодернистский бренд удовлетворяет самые распространенные радости среднего человека – сытость, телесный комфорт. Поверх всей своей «отличности» и круговерти визуальных стилей бренд гарантирует стабильность этого удовлетворения. Стабильность – не вкус, цвет или другие качества – становится основным свойством бренда. Одно и то же, в том же самом виде потребитель гарантированно получит зимой и летом, на Аляске и в Полесье. С самого начала – фактически об этом постоянно твердит и белорусский агитпроп – народ голосовал не за Лукашенко, а против пустых магазинов и мизерной зарплаты. Народ свое получил. Но минимальный достаток пришел не просто так, десятилетняя государственная пиар-компания синтезировала из него целую Идеологию, которая обрела ключевую идеологему Стабильности с постпоэтическим слоганом «чарки и шкварки». Эта идеология минимального, но стабильного потребления стала новой народной верой, пропитала всю социальную жизнь.

Сегодня политический выбор для рядового избирателя по сути уже не отличается от консюмеристского выбора. Любая продажа тяготеет к форме «акции», а политическая акция строится как сетевой маркетинг. Политический выбор – это просто плохой, сделанный спустя рукава консюмеристский выбор: ведь при выборе товара (особенно дорогого) мы изучаем и сравниваем характеристики возможных «избранников» с гораздо большей тщательностью и взвешенностью. По сути, постмодернистский выбор – это уходящий в дурную бесконечность выбор небольших личных выгод в пространстве товарно-денежного фетишизма. То есть сегодня в результате выбора мы не просто покупаем потребительную стоимость, мы приобретаем особую личную выгодность товара: купить то же самое, но дешевле в другом месте; купить тот же товар, но со скидкой; тот же товар, за ту же цену, но с каким-нибудь бонусом (дополнительным «бесплатным» количеством, вложенной игрушкой, особым обслуживанием и пр.); и т. д. Белорусский избиратель в плоскости политики руководствуется навыками покупателя ширпотреба: он особо чувствителен к стабильности бренда, перетекающего в небольшие, но четко указанные дополнительные личные выгоды («на 5% безопаснее», «на 10% чище», на «25% больше»). На уровне здравого смысла избиратель понимает, например, что тот или иной депутат – рвач или тупица, но он обещает небольшое снижение квартплаты и небольшое повышение пенсии. Поэтому, какая разница: ведь, покупая на рынке, мы не заботимся о моральных качествах или интеллекте продающей стороны – главное, чтобы была соблюдена личная выгода и стабильный уровень потребления. За это индивид бросает свои деньги в кассовую «урну» и от-

дает свой голос в политическую «кассу». В реторте этих двух сообщающихся сосудов и происходит синтез того позднего капитала, о котором уже невозможно сказать – политический он или экономический.

В поле современного рынка в товаре мы ценим те небольшие дифференциальные приращения личной выгоды, которые различают любой товар от самого себя, превращают его в бесконечную серию меновых микроразличий (ведь есть еще интернет, который делает погоню за мелкими личными выгодами практически бесконечной). В силу открытости этой серии возникает потребительский невроз неполной реализации личной выгоды (а не удовлетворения потребностей, относительно которых уже никто не скажет, какие из них базовые, необходимые или достаточные). Деньги в нашем кошельке стирают вещественную качественность любого товара и представляют его как неуловимый сгусток микроскопических личных выгод, как соблазнительную картинку. В этом нашем невротическом предстоянии вещи как товару, репрезентированному деньгами, мы отчуждаемся от сути той «слепой» поэтики социальных отношений, которую описывал Ницше.

Общество потребления – это общество зрелища. Посмотрите на людей в супер-, гипер- и мегамаркетах, которые начали расти и у нас. В известном отношении это – жуткая картина, картина социальной фрагментации. Множество людей собрались вместе, но не обращают ни малейшего внимания друг на друга, как зомби, с невидящими глазами они зачарованно блуждают, пытаясь различить в товарах воображаемых себя и собственные личные выгоды, смотря сквозь себе подобных. Визуальное потребление в современных рыночных гиперпространствах является, возможно, последним звеном в цепи десакрализации общества. Древнее божество как исток личностного фетишизма организовывало вокруг себя общий жертвенный Танец (или «соборность» коллективного голоса). Логика денег как истока товарного фетишизма разворачивает Зрелище для все более индивидуализирующегося человека: от элитарных форм философского созерцания и народных форм театрального смотрения до еще большей пассивности, дистанцированности от других и анонимности человека в модернистских пространствах кинематографа и, наконец, до внешней политкорректной имитации бытия-с-другими в предельно индивидуализированных, нарциссических практиках постмодернистского визуального потребления (молл, интернет).

Мы программируемся рекламой на бесконечный самодостаточный, не нуждающийся в каком-либо внешнем обосновании (аристократический нарратив Славы, теократический нарратив Спасения, буржуазный нарратив Свободы) выбор небольших личных выгод. Последний из легитимирующих метанарративов – нарратив Освобождения (нации, класса, индивида) на наших глазах заменяется самодостаточными практиками стабильности. Современное государство, по мысли Фуко, все более становится «гарантийно-страховым обществом», обеспечивающим стабильность.

В традиционную эпоху государство выступало цербером границ и веры: охрана территориальной целостности и активная защита веры задавали смысл государственной «идеологии». Буржуазное государство, помимо базовой функции тоталитарного контроля, в качестве основного положения пакта с обществом провозглашает обеспечение благосостояния для большинства. Для государственных аппаратов времен глобального капитализма базовой идеологической ценностью становится стабильность, безопасность. «Складывающиеся сейчас общества безопасности, – пишет Фуко, – терпимо относятся к целому ряду разновидностей поведения, в пределе – отклоняющихся от нормы и даже антагонистичных по отношению друг к другу; правда, при условии, что такое поведение оказывается “защищенным оболочкой”, не допускающей таких людей и форм поведения, которые считаются неподконтрольными и опасными. И отграничивать такие “опасные случайности” – дело власти. Но в упомянутой оболочке имеется свобода маневра и некий плюрализм, к которому относятся со значительно большей терпимостью, нежели при тоталитаризме. Это более ловкая и хитрая власть, чем власть тоталитаризма».[12] Беларусь – это молодое, еще необразованное во всех смыслах этого слова государство Стабильности. Ловкость современной белорусской власти, в частности, заключается в том, что «непроницаемая оболочка», о которой говорит Фуко, изготавливается из ультрасовременных материалов – не столько стены тюрьмы или дома умалишенных, сколько масс-медийная оболочка надежно отделяет «инакомыслящих» от всего общества. Во имя стабильности жестко пресекается любая попытка критически настроенных к власти слоев населения обрести публичный голос или стать видимыми в публичном пространстве (как в случае с палаточным городком, который сначала был упакован в соответствующую масс-медийную оболочку, а потом уже за этой ширмой «упакован» и физически).

Белорусский политический режим чуть ли не первым эксплицитно сформулировал эту ценность нового века: стабильность выше свободы. Белорусская модель довела до абсурдного и в то же время эффективного примитивизма тот позднекапиталистический курс на «стабилизацию», который сдерживается гражданским обществом, культурными и профессиональными элитами Запада. Эта новая ценность стабильности целит гораздо дальше преодоления опыта перестроечных конвульсий советского социального тела, сбрасывающего идеологическую шкуру «коммунистической идеологии». Антипоэтическая ценность стабильности санкционирует переход в мир «иной», из которого устранены всякие «посредники» из отношений между корпорациями и разобщенными индивидуальными потребителями, в котором развязываются новые силы полицейского контроля во имя общественной безопасности, в котором страх дисперсного врага, проникающего во все поры «здорового» общества, поддерживает господство олигархических кланов (ведь высшая госбюрократия – это тоже клан).

Белорусская идеология пропагандирует стабильность, находя нишу в постмодернистском масс-культурном формате эпохи распада повествования. Она не изобретает теорий, не генерирует связных речей – она уповает на телевизионные монтажные нарезки, визуальный стиль которых микширует примитивные закадровые тексты. Белорусский агитпроп, «душа» отечественных масс-медиа, не рассказывает «историй», он предлагает бессвязные отрывки полит-фэнтэзи, в которых мир вокруг кишит панамериканскими орками, а Сталин предстает чуть ли не православным витязем. Это похоже на рэп, скороговорку, которая не рассказывает никаких связных историй, а представляет собой набор наболевших фраз (о том, как трудно жить вообще и петь в данный момент). Здесь на первый план выходит доверительно-наступательная интонация и, главное, форсированная монтажная нарезка. Монтаж, который не позволяет зацепиться глазу, тем более мысли, за какую-то развивающуюся тему – только пульсирующий слоган, месседж о собственном превосходстве.

Ненарративная природа белоруской идеологии обнажилась в одном из телевизионных проектов белорусской пропаганды конца прошлого века – ряде передач типа «взгляд в мир», в которых вообще без какого-либо комментария в темпе клипа чередовались картинки западной вакханалии хаоса и спокойных трудовых будней белорусов (по тому же принципу, только «со словами», строятся выпуски теленовостей). Клиповая нарезка задним числом привносит какой-то смысл и упорядоченность в набор нарциссических и агрессивных фраз. Рэп – это метастаз рекламы, нагромождение фраз-слоганов, рассчитанных на мощную визуальную стимуляцию; глобальная популярность рэпа знаменует собой окончательную победу визуального над нарративным. Если рэп опосредованно продвигает определенную молодежную субкультуру и сопутствующие товары, белорусский идеологический рэп носит более прямолинейный рекламный характер. Чем по форме «Дети лжи» или другие опусы белорусского агитпропа отличаются от самой массовой рекламы? Реклама различных моющих средств, зубных паст или жвачек в том же самом смысле может быть названа, например, «Дети добра»: четко кодирующая сознание потребителя монтажная нарезка с незамысловатыми текстами перемежает образы разгулявшихся нечистых сил (относительно гадкого и трусливого облика которых приходится полностью полагаться на видеоролик, ибо вокруг-то их и не видно – настолько они микроскопичны) и вовремя спохватившихся сил «чистых» – крошек Сорти, мистеров Пропров и легиона безымянных защитников Чистоты под руководством главного Мойдодыра. Белорусский выбор только на словах приписывает себе альтернативность глобализму, на деле копируя каждый его жест.

В целом, в своей антикапиталистической, антизападной риторике белорусская идеология есть атака на модерн (в том числе и советский) с двух сторон. В предельно примитивном «идейном» содержании белорусский выбор утверждает лубочные духовно-народные ценности деревни в противовес западноевропейской городской культуре модерна. В конкретных властных практиках тот же модерн подавляется

совсем с другой стороны — со стороны циничных постмодернистских времен. Хитрость белорусского идеологического разума заключается в том, что именно примитивность, деревенскость нашего позднего капитализма выдается за возвращение Утопии, эстетические надежды на которую питал модерн. Сегодняшняя президентская Беларусь — это особый в своем буквализме случай «глобальной деревни», помеси антимодерна и постмодерна. Как кадр с сурдопереводом в кадре с настоящим диктором, она своей идеологической мимикой повторяет происходящее в рамках большого мира в утрированно-нелепом виде. Чем отличается лозунг «Покупайте белорусское» от уже затертого заокеанского аналога «Покупайте американское»? Местные чипсы, местные бела-колы, местные бритни-спирс, местные телешоумены и конкурсы красоты, местные «террористы-оппозиционеры», замачивающие в ведрах дохлых крыс, вплоть до собственных силиконовых долин — все это является такой примитивной копией культуры глобального капитализма, которая начинает функционировать как разоблачительная пародия.

Несмотря на общинно-деревенскую риторику, Беларусь строит свою модель корпоративного капитализма, в котором единственной и неповторимой корпорацией является государство. Политический режим в Беларуси хочет быть не транс-, но национальной корпорацией, в силу вопиющей неконкурентоспособности и отсутствия креативных кадров использующей специфические технологии управления. Белорусский постмодерн с завидной быстротой и цинизмом освободился от всего того, что на Западе образует систему сдержек корпоративного капитала, веками наработанную городской культурой: от механизмов постоянной защиты свободной конкуренции (ибо естественным стремлением крупной корпорации является устранение конкурентов и выход из-под юрисдикции законов «для всех»), от институтов гражданского общества, от независимой, по крайней мере от одного источника, прессы, от полноценного университетского образования и слоя культурной и профессиональной элиты, от самой способности к самокритике и самоиронии, которые придают такой благообразный вид западному капитализму и делают его относительно сносным.

Что ждет белорусскую «Корпорацию»? Очевидно, она проиграет в глобальной конкурентной борьбе. И это совсем не повод для радости, ибо среди победителей, похоже, не будет белорусского гражданского общества — только другие представители глобальной «корпорации монстров» типа «Газпрома».

Примечания

1 Ницше Ф. *Сочинения в 2 т.* Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 564.

2 Там же.

3 Бодрийар Ж. *Символический обмен и смерть*. М., 2000. С. 332—333.

4 В книге *Формализм* на материале Англо-американской новой критики автором уже был предпринят анализ социальной природы метафоры как формы «подлинного связывания» (true cohesion), основывающейся на символической негативно-

сти. (См.: Горных А. А. *Формализм: от формы к тексту и за его пределы*. Мн., 2002; Гл. 2, § 3: «Антропологическая трактовка текста».)

5 Леви-Стросс К. *Структурная антропология*. М., 1985. С. 59.

6 Ницше Ф. Цит. соч. С. 679.

7 Маркс К. *Капитал. Критика политической экономии*. Т. 1. Кн. 1: «Процесс производства капитала». М.: Политиздат, 1988. С. 85.

8 Жижек С. *Возвышенный объект идеологии*. М., 1999. С. 31.

9 Фуко М. *Интеллектуалы и власть: Избранные политические выступления и интервью*. Ч. 1. М.: Праксис, 2002. С. 183.

10 «Посмотрите на Советский Союз. Там мы видим режим, где отношения власти в семье, в отношениях между полами, на заводах и в школах остались неизменными» (см.: Фуко М. Цит. соч. Ч. 2. С. 168).

11 Из другой беседы Фуко: «*Фуко М*. Вы говорите: общество индустриальное или общество капиталистическое? Я мог бы ответить, напомнив, что аналогичные образы власти обнаруживаются и в обществах социалистических, ибо их перенос был совершенно непосредственным... *Перро М*. Верно, что накопление капитала произошло благодаря промышленной технологии и благодаря внедрению целого аппарата власти. Однако не менее верно и то, что схожий процесс наблюдается и в советском социалистическом обществе. В определенных отношениях и сталинизм также соответствует эпохе накопления капитала и установления прочной власти». (См.: Фуко М. Цит. соч. Ч. 1. С. 240—241.)

12 Фуко М. *Интеллектуалы и власть*. Ч. 3: «Статьи и интервью 1970—1984». М., 2006. С. 48.

СТАБИЛЬНЫЙ КРИЗИС В НЕСТАБИЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Алексей Криволап

Кризис – это вечное настоящее.[1]
М. Фуко

В данной статье я попытаюсь представить одну из возможных интерпретаций событий, развернувшихся в марте 2006 г. вокруг президентских выборов в Беларуси и той роли, которую сыграли средства массовой информации. На мой взгляд, эти события отчетливо выявили существующий разрыв в понимании того, что такое общество сегодня, каким оно репрезентируется масс-медиа и каким оно переживается нами в ощущениях. Когда от монолитной иерархической структуры, находящейся на реконструкции с момента обретения республикой независимости, менее чем за три месяца остались только хаотично разбросанные обломки былой целостности, очень напоминающие строительный мусор.

Этот текст не является попыткой отстраненного описания событий, свидетелем которых довелось стать. Скорее, это попытка оценить изменения, которые в момент свершения не воспринимаются как значимые и эпохальные. Что касается методологии, то метод сбора эмпирической информации можно назвать методом включенного наблюдения. Хотя коротко стриженые люди в кожаных куртках, заполонившие центр Минска в марте, могут рассказать намного больше интересного о наружном и включенном наблюдении в этот период.

В этом тексте предпринимается попытка применения различных теорий и подходов к интерпретации политического тела общества, когда «теория – это нечто вроде ящика с инструментами»[2], которые можно использовать для создания и конструирования различных проектов.

События этой политической кампании существенно изменили воображаемое социальное пространство. В период выборов общество находится в наиболее политизированном состоянии. Политическая составляющая может интерпретироваться как основа для конструирования национальной идентичности не по этническому признаку. Согласно концепции Б. Андерсона, нация воспринимается как воображаемое политическое сообщество. «Оно воображаемое, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-понации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности».[3]

Повышенное внимание к политической составляющей социальной жизни привело к обсуждению проблемы о месте и роли

в обществе критического интеллектуала, но в то же время спровоцировало обращение к большой проблеме «маленького человека». Когда десять миллионов «маленьких людей» где-то глубоко в душе переживают происходящее и утешают себя, амнистируя свое бездействие вопрошанием: «Что я один мог сделать?». Безразличное участие и пассивность — это активный способ участия в общественно-политической жизни общества.

Лотерейный билет vs избирательный бюллетень

В январе 2006 г. в подземном переходе на площади им. Я. Коласа в Минске можно было наблюдать сцену, «отражающую» осмысление белорусским голосующим большинством проблемы и значимости предстоящих выборов. Справа от выхода из метро располагались столики сразу нескольких инициативных групп кандидатов в президенты (Позняка, Козулина, Милинкевича), собиравших необходимые для регистрации в Центризбиркоме подписи. Часто около этих столиков кроме сборщиков подписей никого не было. А у противоположной стены подземного перехода стоял распространитель лотереи «Суперлото», вокруг которого практически всегда толпились жаждущие супервыигрышей, а иногда даже выстраивалась очередь, чтобы купить билет. Но к противоположной стене перехода, к столикам, из этой очереди мало кто подходил. Зачем? Ведь результаты этого «розыгрыша» стабильности заядлым игрокам в азартные игры с государством был известен заранее...

С момента объявления даты проведения выборов, в декабре 2005 г., до дня «X» — 19 марта 2006 г. — в течение трех месяцев официальные белорусские медиа активно конструировали реальность, в которой выборам отводилось далеко не первое место. Объявление даты выборов «случайно» совпало с рождественской и новогодней лихорадкой поисков и покупок подарков, а в поддержании интереса к этой знаменательной дате в сфере консюмеризма медиа играли решающую роль. Затем пришло время других подарков — к 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. К обязательным дарам, состоящим из букетов и наборов парфюмерии, добавились специальные розыгрыши «народных лотерей». К каждой из дат были приурочены особенные тиражи с особенно желанными призами. Кроме бесконечной череды праздников эфир дополнили зимние Олимпийские игры в Турине. Правда, в силу того что белорусские спортсмены завоевали только одну медаль, олимпиада не очень активно использовалась в пропагандистских целях. Затем эстафету главного события года приняло III Всебелорусское собрание. Не выборы, а именно это собрание. На его фоне сами выборы оказались лишь в роли «экзамена», который власть сдает народу, но не сдать который она просто не может. Точнее, ситуация была сконструирована таким образом, что благодарный и стремящийся к стабильности народ просто не мог не принять экзамен. III Всебелорусское собрание «допустило» к сдаче «экзамена», попутно одобрив программу действий и развития Беларуси на следующую пятилетку. Порядковый

номер был упущен из поля зрения, и пятилетка превратилась в очередную или вторую пятилетку XXI века. При этом выборы должны были стать механизмом легитимации фантазма — монолитной и единой Беларуси, которая выбирает стабильность.

Краеугольным камнем белорусской пропаганды в период президентских «Выборов–2006» стали рассуждения о сплоченности общества, его монолитности и единстве. Хотя этот фантазм монолитного белорусского общества не был «прорисован» даже эскизно, он преподносился так, как представляют скрытый под белой тканью новый памятник. Когда его контуры угадываются с большим трудом, но повода сомневаться, что под этой тканью вообще что-то есть, нет.

Думаете, что наиболее значимым событием 19 марта были выборы президента? Оказывается, что нет. По крайней мере для десятков тысяч белорусских граждан, которые выбрали и рублем проголосовали за право стать счастливыми обладателями билетов «Суперлото». Именно розыгрыш «Суперлото» был более значимым событием, чем президентские выборы. Несколько счастливчиков 19 марта стали обладателями новых автомобилей. Иными словами, в Беларуси есть несколько человек, которые стали безмерно счастливы именно 19 марта...

Если бы лото не существовало — его просто стоило бы изобрести для обеспечения стабильности по-белорусски. Это раньше, для того чтобы отвлечь население от насущных проблем, надо было развязать войну. Теперь достаточно просто культивировать и поддерживать веру в халяву и жажду легкого и быстрого обогащения — лотереи. Что делать, азартные игры увлекают, а азартные игры с государством увлекают тотально.

Собственно, во время выборов можно выделить несколько ситуаций, когда приходится делать выбор. Ведь выборы не сводятся только лишь к выбору фамилии кандидата в избирательном бюллетене. Это и выбор идти на выборы или «проголосовать ногами», оставшись дома. Это и выбор, куда идти после выборов: к кормушке с доступным «кормом» или на голодную и замерзающую площадь. Это и выбор стратегии дальнейших взаимоотношений со своими близкими, которые, например, проголосовали иначе. Это и выбор своих дальнейших действий, после того как будут объявлены результаты голосования. Вот если бы каждый бюллетень был бы одновременно и лотерейным билетом, чтобы можно было и проголосовать, и машину выиграть, то тогда ценность и значимость выборов намного бы возросла...

Официальная точка зрения на выборы сводилась к тому, что выборы — это праздник, а во время праздника люди должны отдыхать. Ведь на следующий день всем, как обычно, надо идти на работу. Не ясно и не понятно, каким праздником является день голосования? Так как значительная часть белорусской идеологии основывается на счастье потребления и возможности обладать какими-то материальными ценностями, то и праздники должны быть подобающими: дешево и сердито. Сам момент голосования занимает не более пяти

минут, конечно, если не придется долго искать урну с бюллетенями. Но эти пять минут должны быть достойно вознаграждены. Поэтому для исполнившего свой гражданский долг электората предлагаются простые и понятные человеческие радости: вкусно покушать и недорого выпить. В результате, каждый избирательный участок оказался по-своему уникальным. Но в то же время все избирательные участки были похожи друг на друга, как две капли водки на столе в школьной столовой, переоборудованной в буфет на время волеизъявления и возлияния электората.

Из личных наблюдений. Как можно с уверенностью смотреть в демографическое будущее Беларуси, когда на импровизированном концерте, организованном силами школьной самодеятельности, восьмиклассницы под фонограмму «минус один» поют хит сексуальной «ВИА Гры» *Моя попытка номер пять*... Да-да, в восьмом классе уже пятая попытка, но все еще неудачная. Эмпирическим путем также удалось установить, что попасть в школьный буфет гораздо проще, чем в кабинку для голосования. Как бы ни старался, а мимо яств и напитков не пройдешь. В школьных столовых еще вчерашние школьники, а сегодня уже достигшие 18 лет избиратели, задорно разливали в одноразовые пластиковые стаканчики водку и запивали ее пивом. К ним на правах исполнивших свой гражданский долг присоединились граждане маргинального вида, которые если бы не выборы, то и не решились бы войти в школу или их не пустил туда вахтер. Единство электората обретало вполне осязаемые и даже обоняемые формы. Над формулировкой тостов задумываться не приходилось: «Ну, “За Беларусь!”»

Телесное переживание социального

Одним из вариантов осмысления социального есть телесное переживание его как процесса. Социальные отношения могут быть схвачены на уровне телесности, когда практики тела (в том числе ограничение физического пространства и свободы передвижения) конструируют телесные переживания социального. Возникает ситуация, когда «реальность повседневной жизни организуется вокруг “здесь” моего тела и “сейчас” моего настоящего времени»[4]. Но подобные пространственные и темпоральные переживания характерны не для индивидуальных практик, а связываются с множеством индивидов. В результате индивидуальная «реальность повседневной жизни я разделяю с другими людьми»[5]. Возникает ситуация, когда «на одном полюсе континуума находятся те другие, с которыми я часто и интенсивно взаимодействую в ситуациях лицом-к-лицу. Это, так сказать, “мой круг”. На другом полюсе – крайне анонимные абстракции, которые по самой своей природе никогда не могут стать доступными взаимодействию лицом-к-лицу. Социальная структура – это вся сумма типизаций и созданных с их помощью повторяющихся образцов взаимодействия. В качестве таковой социальная структура является существенным элементом реальности повседневной жизни»[6].

Мартовские события привели к тому, что многополярность общества исчезла, а остался только «свой» понятный полюс при полном отрицании даже возможности существования других. Общество незаметно для себя отказалось от такой важной функции, как взаимодействие между большинством и меньшинством. Общество утратило потребность в том, чтобы услышать другое мнение, отличное от мнения большинства. Здесь возникает другой вопрос: может ли подобное социальное образование трактоваться как общество, или это уже что-то другое?

После 19 марта...

Журналисты склонны драматизировать и приукрашивать происходящее, стараясь найти и сформулировать как можно больше эпохальных событий. Некоторые из дат превращаются в имена собственные, например 11 сентября. Возможно, что событием подобной значимости для белорусского медиа-пространства стало 19 марта 2006 г.

Напряжение, которое имеет место быть во взаимоотношениях между людьми после 19 марта, только усиливается. Так получилось, что межличностная коммуникация обогатилась еще одним «щекотливым» вопросом. Трудно даже сказать, насколько интимным и сокровенным является вопрос: «Ты пойдешь сегодня на площадь?» Ведь для госслужащих, людей, работающих по одногодичному контракту, студентов и многих других даже обсуждение возможности участия в митинге уже таит в себе некоторую опасность. Опасность потерять работу или учебу. Но что удивительно, этот страх одновременно рационализируется и преподносится как стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что если лично я ничего не сделаю и, главное, не попытаюсь сделать, то завтра будет как сегодня, а это уже стабильность и уверенность в завтрашнем дне! «В отношениях субъекта и сообщества, к которому он принадлежит, всегда существует такая парадоксальная точка choix force, где сообщество говорит субъекту: у тебя есть свобода выбора, но лишь при условии, что ты совершишь правильный выбор».[7] Не обсуждая моральные категории «правильного» выбора, можно сказать, что в белорусской ситуации представители различных страт одного «монолитного» общества имели диаметрально противоположные представления о «правильном» выборе.

Для поиска ответа на вопрос о (не)выходе на площадь (как тех, кто был на площади с 19 по 24 марта, так и тех, кто убедил себя остаться дома) можно определить две возможные стратегии. С одной стороны, если говорить о социальном действии и становлении себя через обретение собственной видимости в глазах других, то тогда выход на площадь есть значимая составляющая в формировании коллективного проекта. Осознания собственной причастности к социальной группе. С другой стороны, если решение выйти на площадь и заявить о своей

позиции является результатом индивидуального выбора — выбора, основанного на личной ответственности, прежде всего перед собой.

В обоих случаях выход в публичное пространство есть результат проявления гражданской позиции, основанной на различных стратегиях конструирования собственной идентичности. Выход «на люди» предполагает наличие живых свидетелей, способных подтвердить, что этот человек был тут и тогда. Выход «перед самим собой» не предполагает никакой внешней фиксации данного акта, главным результатом которого является нематериальная ценность — возможность смотреть себе в глаза (не стоит понимать это буквально — как самолюбование в зеркале, например) и ответственность перед самим собой.

Это различие в мотивации участия в мартовских событиях не является мелочным и несущественным. Это своего рода мина замедленного действия, когда внешняя целостность и монолитность группы оказывается только видимостью. Так получается, что перед самим собой человеку всегда легче оправдаться и объяснить свои действия, чем сохранить лицо перед референтной группой. Впрочем, все эти проблемы свойственны и тем, кто ни разу так и не пришел на площадь. «Монолитное белорусское общество» не проявило никаких признаков радости по поводу «ошеломительных результатов» выборов. Среди них тоже ведь есть те, кто выбирал с оглядкой на свою референтую группу, и те, кто выбирал, руководствуясь «собственными», почерпнутыми из масс-медиа представлениями.

Здесь уместно вспомнить украинские события в период президентских выборов 2005 года, когда после победы В. Ющенко и его сторонников всем «жителям» оранжевого палаточного городка на Крещатике выдали свидетельства участников. Конечно, это не медали «за великое стояние» или «за взятие демократии», но очевидное стремление пополнить социальный капитал еще одним символом. Это как бы внешнее подтверждение индивидуальных заслуг.

Трудно сказать, почему желающих быть честными в глазах других с завидным постоянством оказывается больше, чем желающих остаться честными перед самими собой. Может быть, сказывается память о значимости в СССР значков ГТО, «Ворошиловский стрелок» и пр.? Или белорусское общество все еще сковано традициями коллективной деятельности: а что люди скажут?

Из личных наблюдений. Из поля всеобщего внимания как-то выпало то обстоятельство, что на Октябрьской площади в Минске 20–23 марта действовал не только палаточный лагерь, но и еще один социально-культурный объект — ледовый каток и пункт проката коньков. За пять тысяч белорусских рублей в час (около $2,2) можно было взять коньки и, не торопясь, совершенствовать конькобежные навыки. Так же недорого, за две тысячи белорусских рублей, можно было заточить собственные коньки. Трудно даже представить себе более нелепую и несовместимую картину, когда в одном месте, в одном городском топосе, в одно и то же время оказываются рядом и умудряются мирно сосуществовать представители несовместимых

взглядов и ценностных ориентаций, которые при этом подпадают под безразмерное понятие «монолитное белорусское общество». Что общего, кроме цвета национального паспорта, у человека, рискующего индивидуальной свободой и испытывающего(-ей) физические страдания на морозе, с одной стороны, и фанатичного сторонника здорового образа жизни, убежденного в том, что ОМОН, палатки и массовые аресты не помеха катанию на коньках, – с другой?

Кстати, 25 марта, в «Дзень Волі», официальной причиной, почему нельзя пройти на Октябрьскую площадь, стала работа техники по «демонтажу» катка и вывозу остатков льда и снега...

Революций на трезвую голову не бывает?

Репрезентация белорусским телевидением жизни палаточного лагеря на Октябрьской площади не отличалась оригинальностью. Традиционный набор штампов о пьяных подростках, которых грязно и цинично используют в своих целях лидеры оппозиции. Визуальный ряд для данного нарратива был не менее банален: пиво – молодежь – пиво. Понятно, что было еще много событий и мелких деталей, отсылающих к реальности происходящего, но белорусское телевидение не заметило этого.

После уничтожения палаточного лагеря, для иллюстрации аморальности его участников, белорусское телевидение со скопофилическим наслаждением смаковало перемешанные с мусором палатки, в которых люди в штатском, на удивление оперативно, «находили» и демонстративно извлекали перед телекамерами одноразовые шприцы, порнографические журналы и загадочный белый порошок в пакетике. Правда, пакетик был похож скорее на вкусоароматическую добавку для лапши быстрого приготовления. Впрочем, лапши в эфире, в том числе и приготовленной на скорую руку, было предостаточно. Но молчание и «правда факта» – пакетик же с белым порошком(!) – должны отсылать зрителей к идее об употреблении наркотиков. Кто же еще, как не наркоманы, могли протестовать и быть чем-то недовольными в Беларуси – самой счастливой и стабильной стране на постсоветском пространстве?

Показательно, с каким упорством белорусские медиа культивируют алкогольное «бегство от реальности». Тема алкоголя и его роли в социальных преобразованиях все еще остается актуальной. Так получается, что социальные преобразования задумываются на трезвую голову, но к моменту их реализации сознание неизбежно затуманивается алкоголем. Когда же приходит время разбираться с тем, что было сделано, то оказывается, что без следующей дозы спиртосодержащей жидкости уже ничего не представляется возможным понять.

Белорусская идеология таит в себе множество противоречий и взаимоисключающих положений. Наиболее очевидное – это противоречие между одновременными требованиями увеличения потребления пива и соблюдения здорового образа жизни, трудовой дисциплины.

Отношение к употреблению пива удивительным образом трансформируется: когда речь заходит о государственной программе развития белорусского пивоварения, то цель увеличить производство и потребление пива с 20 до 60 литров на человека в год преподносится как забота об отечественном производителе. А употребление белорусского пива «приравнивается» к акту проявления патриотизма. Пьешь белорусское пиво — патриот. Но как только перед медиа возникает иная задача: показать «оппозицию» как собрание пивных алкоголиков, — то употребление пива оказывается просто глумлением над здоровым и спортивным образом жизни белорусского общества. Пьешь белорусское пиво — оппозиционер.

Из личных наблюдений. Вечером 21 марта в трамвае группа молодежи громко и взахлеб обсуждала недавно коллективно пережитый «экшн». Они от кого-то убегали, за кем-то гнались... Иногда в эмоциональном порыве молодые люди пытались перекричать друг друга. Первое, что пришло в голову, наверное, ребята благополучно избежали ареста после митинга. Но их дальнейшее повествование неожиданно перешло к перечислению «заваленных» монстров, террористов и потерь среди боевой команды. Печально, но очевидно: эмоциональные потрясения вызваны компьютерными играми, а не участием в политической жизни страны. Можно отметить, что часть населения так и не вышла из уютной и безопасной виртуальной реальности, которая создается и поддерживается в том числе и национальными медиа. Даже те, кто уклоняется от идеологической интерпелляции как «члены монолитного белорусского общества», могли ничего не заметить 19–25 марта 2006 г. в Минске, в силу того что были полностью погружены в собственную виртуальную реальность... Более того, негосударственная ежедневная газета «Вечерний Минск», чья редакция располагается в одном прогоне метро от Октябрьской площади, так и не заметила происходящего. Вообще, как если бы ничего и не было.

Накануне 19 марта произошло как минимум два значимых события в мире: умер Слободан Милошевич, а во Франции начались активные протесты студентов против нового закона о контракте первого найма для французских молодых специалистов до 26 лет, которых работодатель мог уволить без объяснения причин. Прямой связи между этими событиями и Беларусью нет, но если посмотреть на то, с каким рвением превозносится в Беларуси обязательное двухлетнее распределение как гарантия первого трудового места, то студенческие бунты во Франции не кажутся чем-то далеким и невозможным. Тем более что в апреле французы добились-таки отмены этого закона. А что касается Милошевича, хоть он и не был ни разу в Беларуси, но его политические контакты так или иначе были связаны с Минском. Когда же традиционно далекий от белорусских событий телеканал *EuroNews* обратил внимание на происходящее в Беларуси, то выпуски новостей состояли из трех тем: смерть Милошевича, президентские выборы в Беларуси и студенческие манифестации во Франции. Не возьмусь

даже фантазировать на тему, что происходило в головах у белорусских зрителей телеканала *EuroNews*, когда они сталкивались с такой последовательностью новостей. Это тот случай, когда последовательность таит в себе дополнительные, неучтенные ранее смыслы.

Но и с *EuroNews* в белорусском контексте возникла скандальная история. Дело в том, что в Беларуси ретранслируется русскоязычная (читай, московская) версия *EuroNews*. Отличие языковых версий канала состоит в том, что используется один и тот же видеоряд, но он сопровождается различными комментариями. «Нюансы перевода» иногда оказывались столь разительными, что голос за кадром на панъевропейском *EuroNews* все больше и больше стремился к интерпретации событий информационной службой телеканала «Россия».[8]

Основная медиа-практика на прошедших в марте выборах – это фигура умолчания. По большому счету, постоянно говорилось почти одно и то же. Гораздо интереснее то, что не озвучивалось и умалчивалось. Конечно, этот риторический прием не применялся в отношении действующего президента, деятельность которого являлась основой для информационных программ, все больше напоминающих передачи в стиле «один день с…», «одна неделя с…».

Следует разоблачить чрезвычайно эффективную стратегию власти, направленную на убеждение электората, что голосовать (читай, выбирать) можно и нужно только тогда, когда это легитимировано и санкционировано сверху. Эта стратегия основывается на аморальном убеждении в необходимости делегировать полномочия решать и быть ответственным за свою собственную жизнь, за свою судьбу и судьбу своих детей (сравни с высказыванием, что «говорить за других – это подлость»[9]). Получается, что необходимо выбирать кого-то, кто будет все решать за человека. А человеческая жизнь состоит из нескольких таких ключевых выборов, которые определяют всю жизнь. Но эти судьбоносные решения принимаются один раз в пять(?) лет. Остальное время – тотальный фатализм, маскирующийся под счастливое и беззаботное существование. Белорусская идеология конструирует достаточно ущербную позицию для белорусского избирателя в политической жизни, редуцируя ее к нескольким возможностям «проголосовать». Все остальное время электорат должен быть свободен от необходимости участия в политической жизни.

Чтобы уклониться от подробного описания манипуляций и произвольных интерпретаций данных, полученных в ходе различных социологических исследований, приведу только один пример, указывающий на масштабы проблемы. В выпуске новостей на Первом национальном телеканале 19 марта еще в 10.00 были названы результаты экзит-полов, проведенных социологической службой Белорусского комитета молодежных организаций. По ее информации, на основании опросов полторы тысячи человек выяснилось, что «за» Лукашенко проголосовало 82,3%. Эти данные показали невероятную точность данных белорусских социологов, поскольку прогноз только на 0,7% отличался от окончательных официальных результатов.

Результаты выборов, поспешно признанные Россией, Китаем, Кубой и не признанные ЕС и США, не способствовали сплочению белорусского общества. На этом поприще особенно отличились «международные» наблюдатели от стран СНГ, которые в эфире всех белорусских телеканалов наперебой говорили об отсутствии нарушений, о том, что им очень понравилось в Беларуси и… что «Минск очень зеленый город». И это в марте, когда еще лежал снег… Да, при таком восприятии реальности действительно трудно было увидеть нарушения…

За последние двенадцать лет в Беларуси выросло новое поколение, которое уже не помнит, как быстро рассыпался «бессмертный» Советский Союз, как скоропостижно скончалась «неприступная» ГДР, и знает только одного бессменного(?) руководителя Беларуси. Но это не помешало сформироваться протестным настроениям и в этой среде. В результате избирательной кампании вопрос о том, может ли телевидение врать, сменился другим вопросом: может ли оно не врать? И о соотношении информации и дезинформации. Ответ на него можно найти у Ги Дебора, который полагает, что «дезинформация считается дурным использованием истины. Тот, кто ее распространяет, — виновен, а тот, кто ей верит, — недоумок»[10].

Пожар на болоте, или Некоторые амбициозные выводы

По моему мнению, главный итог этой политической кампании — свершившаяся революция. Она, как и разруха, происходит сначала в головах и только потом выплескивается на улицы. Сегодня мы не узнаем себя вчерашних, а нас завтрашних трудно даже представить. Белорусская революция протекает по уникальному сценарию, сдобренному национальными особенностями. Возможно, что лучшей метафорой может стать болото, точнее, пожар на болоте.

Особенность пожара на болоте, когда горит торф, состоит в том, что на поверхности сильный дым, густой смог, затрудняющие дыхание, но открытого пламени нигде нет. На первый взгляд, огня просто нет. Огонь глубоко внутри, огонь выжигает нутро болота дотла, уничтожая и тотально опустошая его изнутри. Однако местами огонь неконтролируемо вырывается наружу. Эти открытые очаги возгорания еще можно потушить, но потушить огонь в глубине болота практически невозможно. Остается ждать, пока оно полностью выгорит или его зальют затяжные осенние дожди.

Сегодня белорусская революция в разгаре, и те, которые ее не замечают, просто не желают оторваться от красно-зеленых телеэкранов и посмотреть вокруг. На телеэкранах, как и раньше, белорусские «торфяники уже засажены картофелем» или засаживаются, а «пожара» в эфире нет. Телевидение пока не способно передавать запах дыма, но чтобы учуять, что пахнет «жареным», достаточно просто выйти на улицу.

Азартные игры и алкоголь, все то, что способствует разрушению моральных конвенций в обществе, расшатывая границы допустимого

и табуированного, в ходе этой политической кампании были задействованы максимально. В результате получилось, что хороший электорат — это пьяный электорат, который предпочитает избирательному бюллетеню лотерейный билет.

P.S. Утром того же дня, когда был разгромлен палаточный городок, работники «Минскзеленстроя» в оранжевых костюмах начали «приводить в порядок» деревья в городе. Основным инструментом упорядочивания природы является пила, с помощью которой все деревья вдоль дорог становятся одной высоты с одинаково обезображенными «культяпками» веток. Но очень быстро деревья оживут, и ветки отрастут заново, нарушив установленный жесткой рукой порядок. С маниакальным упорством деревья стригут каждый год, но они неизбежно отрастают снова…

Примечания

1 Фуко М. *Политика — это продолжение войны другими средствами* // Фуко М. *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью*. М.: Праксис, 2002. С. 148.

2 Фуко М. *Интеллектуалы и власть* // Фуко М. *Интеллектуалы и власть*… С. 69.

3 Андерсон Б. *Воображаемые сообщества. Размышляя об истоках и распространении национализма*. М., 2001. С. 31.

4 Бергер П., Лукман Т. *Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания*. М.: Медиум, 1995. С. 42.

5 Там же. С. 52.

6 Там же. С. 59.

7 Жижек С. *Возвышенный объект идеологии*. М.: Художественный журнал, 1999. С. 167.

8 См. подробную информацию по различию в комментариях англоязычной и русскоязычной версий телеканала *EuroNews* на сайтах www.belarus.indymedia.org и www.charter97.org

9 Фуко М. *Интеллектуалы и власть*… С. 70.

10 Дебор Г. *Комментарии к* Обществу спектакля // Дебор Г. *Общество спектакля*. М: Издательство «Логос», 2000. С. 147.

ПЕРМАНЕНТНЫЕ ВЫБОРЫ И РЕВОЛЮЦИЯ

Янов Полесский

Все мы воспитывались на идеалах революции, и те, кто сегодня называет революционеров негодяями, – люди испорченные. Причем испорченность не делает их привлекательными.
Оскар Уайльд – в интервью «Радио Свобода»

Одна из основных целей данной публикации – поддержать идею, вернее, форс-идею перманентных выборов, которую выдвинул Сергей Паньковский. В идее перманентных выборов, впрочем, момент авторства не принципиален, ибо она сама суть порождение объективного стечения обстоятельств, которые в нашем случае являются форс-мажорными. Дело в том, что третья навигация г-на Лукашенко совершается под прикрытием недоразумений, порожденных тем фактом, что можно с чистой совестью говорить о проблемных и неоднозначных структурах постсоветского и светского государства на языке «демократического выбора», который сообщает им совершенно иное основание и тем самым готовит их преодоление. Если, другими словами, постоянно апеллировать к «воле народа» как осевому легитимату политического режима, то эта воля рано или поздно избавится от налагаемых на нее ограничений и найдет свое выражение посредством выборов, признанных честными и справедливыми.

В нашем случае это означает, пишет С. Паньковский, «что 19 марта теперь имеет шанс возобновиться в любой из последующих дней, послезавтра или через год, превращаясь в неустранимую константу, с которой, как и с любым принципом, невозможно окончательно расправиться даже с помощью танков»[1]. Принцип перманентных выборов, или, если угодно, принцип Справедливости – это такая бесконечно возобновляемая ситуация, которая «дело принципа» – честные и справедливые выборы – ставит выше принципа лояльности (или приверженности) конкретному курсу, конкретной фигуре или группе лиц, этот курс олицетворяющей.

С другой стороны, принцип перманентных выборов равнозначен принципу перманентной революции – тождество между ними как раз и обеспечивается известным зазором между демократией как конституционной формой и наличными политическими практиками как формой бытующей. Происходящие на постсоветском пространстве цветные революции, которые нередко истолковываются как «толчок застрявшей машины "демократического" транзита»[2], исполнены легитимистскими пафосом и стилистикой и, таким образом, направлены на пре-

одоление этого зазора. Перманентные выборы как неустранимый принцип политики состоит, следовательно, в революционном движении, которое призвано переигрывать «неизбирабельную» ситуацию настоящего до тех пор, пока не наступит будущее. В действительности речь идет об определенном смещении в центральном принципе легитимации – от «общей воли» к предусловиям, единственно обеспечивающим адекватное выражение этой воли.

Революционная ситуация как «естественное» состояние

Подавляющее большинство анализов, взвешивающих постсоветикум на предмет «революционной ситуации» (т. е. возможности цветных революций), по моему мнению, имплицирует три презумпции, препятствующие адекватной (или удовлетворительной) диагностике социальной ситуации:

– намерения агентов в целом согласуются с последствиями их действий (так, например, белорусские власти пытались предотвратить революцию – им это удалось, оппозиция пыталась закрепить за собой определенные зоны влияния – ей также это удалось);

– власть, т. е. контрреволюционный по определению класс, не может выступать агентом революции; таковым является исключительно революционный класс (например, «оппозиция при решающей поддержке Запада»);

– «революционную ситуацию» можно просчитать исходя из текущего положения дел.

Три эти презумпции являются взаимосвязанными и взаимонаправленными. Так, например, исключение из триады «намерения – действия – последствия» среднего звена – возможных действий агентов (и, соответственно, непредсказуемых последствий этих действий) – позволяет рассматривать текущую ситуацию в качестве «просчитываемой» в аспекте последующих состояний. Вместе с тем необходимость задать определенный «горизонт прогнозирования» предполагает выполнение специфических условий прогноза – например, следует считать, что контрреволюционный класс не подыгрывает (против воли, разумеется) своим противникам, т. е., опять же, его действия не противоречат его намерениям.

Зимгунт Бауман далеко не первый, кто ставит под сомнение правомерность «правовой системы» (legal framework), объясняющей случившееся целью, которую поставил перед собой агент, а его действие рассматривающей как такое поведение, «которое своей конечной причиной и объяснением имеет намерения агента»[3]. Убийство Цезаря – полюбившийся политическим писателям гегелевский пример, призванный проиллюстрировать механику «хитрости разума», которая меняет местами намерения и последствия. Осознанной целью заговорщиков, противников Цезаря, было восстановление Республики, конечным результатом – восстановление Империи, т. е. нечто прямо противоположное. Так павший под кинжалами заговорщиков

Цезарь – благодаря исторической «хитрости разума» – возрождается в институте цезаризма.

Таким же образом произошедшая в Украине цветная революция – это не только и не столько результат непосредственных и осознанных намерений оппозиции во главе с В. Ющенко, но также эффект вмешательства в ситуацию контрреволюционных сил (в частности российских политтехнологов), стремящихся исключить возможность повторения грузинской «революции роз». Именно это вмешательство во многом предопределило «оранжевый» исход, именно это вмешательство чаще всего исключается при анализе революционной ситуации в Украине 2004 г., поскольку предполагается, что контрреволюционные силы не могут подыгрывать своим противникам – как правило, революционерам поневоле. Действительно, если бы оппозиции была предоставлена возможность заниматься своим делом – политикой, ей не пришлось бы заниматься «уличной демократией» как экстремальной разновидностью политики (то есть революцией, в сколь бы безобидных формах она ни выражалась). Следуя «охранительному» инстинкту и приписывая оппозиции самые невероятные намерения («развал государства», «продажа суверенитета» и пр.), власти самым неожиданным образом превращаются в инициаторов революционного спектакля. В этой связи знаменитую формулу Пьера Вернио: «революция – как Сатурн, она пожирает собственных детей» – следует рассматривать таким образом, чтобы она «располагалась» в противоположном углу собственной интенции. Всякий, кто знаком с историями революций, прекрасно знает, что она пожирает собственных отцов. Которые, вдобавок, исчезают в желудках детей. Эдип, а не Сатурн – вот действительная персонификация революции.

Наконец, третья презумпция, на которой базировались основные заключения по поводу (не)возможности революции в Беларуси, рассчитанной по украинскому сценарию, обставляется серией параметров, якобы соответствующих «революционной ситуации» (власть слаба, оппозиция сильна, популярна в массах и пр.). Здесь вполне можно обратиться к «каноническому» примеру. Если верить, например, Ричарду Пайпсу[4], в момент, предшествовавший февральской революции 1917 г., царское правительство выглядело довольно сильным: в его распоряжении находилась многочисленная армия, жандармерия, полицейские силы, и господствовало мнение, что это правительство все контролирует и широко поддерживается населением. С другой стороны, оппозиция – довольно слаба, раздроблена, лишена даже призрачной надежды на консолидацию и раздираема внутренними противоречиями. На общем фоне наиболее внушительно выглядят социалисты Керенского, меньшевики (серьезно организована работа в крупных промышленных центрах), эсеры (лучше других организована работа в регионах). В общем, трудно понять, почему в итоге именно большевики сумели повернуть ситуацию в свою пользу.

Ретроспективно может казаться, что украинская оппозиция накануне президентских выборов была чрезвычайно консолидирована, сплочена, популярна в массах и пр. Однако – это ее финальное, соб-

ственно предреволюционное состояние, когда вопрос политических предпочтений ставится в предельных терминах. Количество кандидатов в президенты (26!) – что называется, хороший показатель состояния оппозиции накануне первого тура выборов в Украине. То же самое верно и в отношении Грузии. Короче говоря, очень редко в подобных ситуациях (которые часто квалифицируются как «революционные») побеждает самый «сильный» и «популярный». И, собственно говоря, разве Беларусь образца 1994 г., т. е. перехода от парламентской к президентской форме правления, не является примером того же рода?

В действительности всякая революция потому и является революцией, что не проистекает из «объективно» данной ситуации и представляет собой скачок, провал, «недетерминированный» разрыв с предшествующей ситуаций. Революция – это всегда живая иллюстрация эффекта, именуемого Д. Лукачем Augenblick, – момента для неожиданного вмешательства в ситуацию, усиления конфликта, прежде чем воображаемая глобальная матрица успеет приспособиться к обстоятельствам. Augenblick находит свои параллели в альтюссеровской идее «сверхдетерминации» и в том, что Ален Бадью определяет как Случай (the Event): вмешательство, которое нельзя просчитать из «объективного» положения вещей.

Еще раз обратимся к «канону». Февральская революция 1917 г. была полной неожиданностью не только для властей либо функционеров рабочего движения, но и для Ленина. В то время он находился в Цюрихе, и там, выступая в январе 1917-го перед социалистической молодежью, сказал, что мы, старшее поколение, вероятно, не доживем до решающей битвы будущей революции. То есть, он совершенно не рассчитывал на пролетарскую революцию в ближайшее время (революция, к примеру, невозможна, когда еще не сложился «революционный класс»). Многие историки говорят о том, что Ленин не был в курсе событий, происходящих в России. Это верно, но верно и другое: в тот момент он все еще четко следовал марксистскому положению о «революционной ситуации». Позже, спустя несколько месяцев, он совершенно укрепится в убеждении, что минимальные предпосылки для такой ситуации существуют всегда.

Иными словами: всякое общество потенциально конфликтно, и (не)устойчивость социальной системы во многом определяется, с одной стороны, способностью власти не актуализировать этот конфликт, с другой – способностью революционеров актуализировать конфликт в некий «неожиданный» момент (Augenblick). Революционная, или предреволюционная, ситуация, следовательно, – это перманентное состояние общества. Возможность не обострять ситуацию находится в пределах, определяемых способностью общества (и политической системы в частности) изыскивать «эволюционные» пути и средства развития. Нынешняя Беларусь эти возможности практически исчерпала.

В политической стратегии, которая призвана гуманизировать или демократизировать политическое поле, пожалуй, наиболее эффективным является self-fulfilling prophecy, самореализующееся пророчество. Как следует из вышесказанного, политические эксперты, прилежно перечислявшие факторы, приведшие к «майдану», игнорировали главные из них: а) «фасадность» демократии с ее скрытой возможностью срастания маски с лицом, б) совокупность мер, призванных предотвратить такое срастание, предотвратить «повторение революции роз» (которая произошла, напомню, в Грузии). Таким же образом многое из того, что происходит сегодня в Беларуси, представляет собой поточный цикл самореализующегося пророчества.

Говоря коротко, self-fulfilling prophecy – это структура события, при котором судьба (история) является эффектом пророчества. Термин был предложен американским социологом Р. Мертоном для предсказаний, стихийно «управляющих» поведением людей и приводящих к ожидаемым результатам. К. Поппер именует подобный феномен «эдиповым эффектом», а психологи Р. Розенталь и Л. Якобсон – «эффектом Пигмалиона». Можно выделить три компонента подобный структуры события (игры, действия):

– наличие пророчества (например, предсказание Тиресия о том, что Эдип убьет своего отца, царя Фив Лая, и женится на своей матери – Иокасте);

– реакция на пророчество, попытка избежать нежелательных альтернатив (Эдипа изолируют);

– истинностное подтверждение ложного пророчества (Эдип – прежде всего по причине неузнавания, связанного с предшествующей изоляцией, – убивает Лая и женится на Иокасте).

Таким образом, при подобной игровой стратегии ложное может превратиться в истинное, а возможное – в действительное. У Гегеля, как уже замечено выше, сходным образом выстроена концепция «хитрости разума» (если за пророчество принимать ту часть осознанных намерений, которая связана с избежанием нежелательных альтернатив), у Маркса – концепция «понижения нормы прибыли». Таким же образом реагируют, например, биржевые курсы, реализуются практики в бизнес-системах и пр.

После известных событий в Украине белорусские власти и их противники столь часто рассуждали о возможности/невозможности «оранжевой революции», столь часто – по поводу и без повода – употребляли это словосочетание, что революция из области чистой возможности переместилась в область реальной возможности. В область, непосредственно граничащую с действительностью.

Из тех мер и мероприятий, которые были предприняты для предотвращения «оранжевого сценария», можно было бы составить объемный каталог. Начать с того, что когда еще в помине не было никакого Милинкевича и даже самые горячие сторонники демократии не

верили в скорую возможность перемен, Лукашенко и его подручные начали постепенно приучать электорат к мысли о том, что революция все же может произойти. Этой отчасти мнимой угрозой (сегодня уже сложно сказать, насколько мнимой) подпиралась и обосновывалась группа пропагандистских и контрпропагандистских, а также реорганизационно-репрессивных мероприятий, направленных на стабилизацию, казалось бы, без того стабильной ситуации процветания.

Навязчивое преувеличение пропагандой значения и роли потенциально «оранжевой» оппозиции сказалось хотя бы в том, что граждане страны узнали о существовании «пятерки плюс». В ситуации, когда изъезженным местом была констатация «слабости и раздробленности» партийной оппозиции, та поверила в свой потенциал, провела Конгресс демократических сил, который, собственно, и дал молчаливому меньшинству (в перспективе – большинству, коль скоро молчит именно оно) Александра Милинкевича, человека, призванного воплощать возможность изменений к лучшему.

Процесс формирования оппозиционной (в перспективе – четко позиционированной и позитивной) политической стратегии наложился на другой процесс – на сей раз спровоцированный серией мероприятий, которые выше помечены в качестве реорганизационно-репрессивных. Подобные действия – просто в силу «аппаратной» архитектуры власти – практиковались на протяжении всего периода правления Лукашенко, но были в значительной степени интенсифицированы после того, как администрацию президента возглавил В. Шейман, а КГБ – С. Сухоренко. Благодаря совокупности подобных действий государственный аппарат лишился целой группы профессионалов и просто инициативных людей, в большинстве своем оказавшихся в «оппозиции». Кто-то из них стал делиться с оппозицией (партийной и гражданской) ценной информацией, кто-то – идеями, кто-то – из тех, что убыли за рубеж, – деньгами. Эффектная раскрутка фигуры Александра Козулина – явление того же ряда.

Важно отметить, что первоначально оппозиция вовсе не рассчитывала на возможность революционного сценария и ограничивала свои притязания некоей «информационной кампанией», которая позволила бы закрепиться на «отвоеванных позициях». Вообще говоря, планы оппозиции были мечены своеобразной двусмысленностью. Так, например, А. Милинкевич публично отрекался от приверженности революционному действию и одновременно призывал народ прийти на площадь 19 марта. Эта двусмысленность – прямое следствие ситуации, при которой основным намерением партийной оппозиции являлась победа в «легальной» политической игре, основным непреднамеренным действием – подрыв ее правил, навязываемых властью.

Можно утверждать, что власть назначила оппозиционных лидеров на роль неудачливых революционеров, которые, впрочем, с этой ролью и справлялись не очень успешно – не в последний черед, по причине активного вмешательства самих властей. Там, где Милинкевич и Козулин должны были выступать в роли «революционеров», они призывали к спокойствию и примирению, там, где они должны

были очевидным образом проигрывать, — вели в счете (т. е. довольно эффективно использовали те скудные средства, которыми располагали). В любом случае им удалось главное — «подтвердить» видимость угрозы, в которую правящая группировка всерьез верила.

В целом же, властям удалось выполнить несколько предусловий, которые, собственно, и придали победе Лукашенко тот несмываемый привкус сомнительности, который будет сопровождать эту «победу» вплоть до исчерпания всех ее эффектов, а также — эффектов этих эффектов:

1. Раскрыв «заговор социологов» (НИИСЭПИ закрыт, лаборатория «Новак» не имеет соответствующей лицензии), власть тем самым создала благоприятные условия для войны цифр. Если до какого-то момента в Беларуси существовали профессиональные репутации социологов, какие-то возможности для проверки данных и пр., то сегодня всякий может называть любые понравившиеся ему цифры. В ситуации устранения профессиональной социологии и радикальной деформации медиа-пространства социология производится прямо на улице. С одной стороны, множатся слухи. С другой — всякое упоминание «улицы» («майдана» и пр.) увеличивает шансы выхода людей на улицу (которые, разумеется, нуждаются в новых слухах). Короче говоря, когда значение социологической информации девальвируется, единственным показателем настроений избирателей становится их число на улице — вовсе не данные ЦИК или какого-нибудь ЭКООМ.

2. Власть прибегла к «альтернативам избежания», т. е. набору самодискредитирующих приемов (угроз и акций подавления), о чем будет сказано ниже.

3. Сама структура самореализующегося пророчества предполагает, что попытки избежать его ведут к известному финалу. В данном случае речь идет о том, что интенсивное формирование образа «оранжевого врага» (в нашем случае — джинсового врага, который повсюду и повсеместно) с неизбежностью влечет за собой увеличение его значимости, а меры, направленные на борьбу с ним — т. е., по сути дела, с ветряными мельницами, — попадают мимо цели. Пророчество, таким образом, изначально вписано в структуру революционного действия (видимо, по этой причине Маркс и говорил: призрак коммунизма бродит по Европе; Марксово пророчество не сработало главным образом там, где власть не слишком активно купировала активность «революционных сил»).

Итак, мы видим, как материализуются страхи правящей группировки: мнимая угроза становится действительной, а настойчивые попытки ее избежать меняют общественное сознание, способствуют коренной перестройке структуры политического поля.

Еще раз Эдип: дети революции

Для устойчивой власти в современных обществах, напоминает Никлас Луман, характерно широкое число степеней свободы и способность власти «добиваться признания своих решений при наличии привлекательных альтернатив действия или бездействия»[5]. При этом власть покоится на том, что «существуют возможности, реализации которых стараются избежать… Когда власть вынуждают обращаться к альтернативам избежания, власть разрушается»[6], поскольку необратимо меняется структура социальной коммуникации, определяемая кодом власти. Это следует понимать следующим образом: чем больше власть способна предложить соблазнительных альтернатив и одновременно – обойти пограничные «альтернативы избежания» (т. е. подавление, принуждение, насилие) – тем более она устойчива. В этом смысле очевидно, что режим Лукашенко все более интенсивно генерирует «код революции», поскольку сеет насилие и попирает собственные идеологические модули («мир», «стабильность», «безопасность»).

Усиление государства в духе «белорусской модели» – это, безусловно, симптом слабости власти, символизируемый, с одной стороны, падением доверия к ней, а с другой – игнорированием властью тех самых альтернативных возможностей (соблазнительных перспектив), которые превращаются в элементы проективных утопий, предлагаемых оппонентами власти. Более того, известный финал «выборов» – разгон Нового города на Октябрьской пощади, арест сотен участников манифестации, движущихся на Окрестина, – свидетельство исчерпанности даже пресловутого административного ресурса. Сила оружия и угрозы – вот единственный ресурс, которым режим Лукашенко все еще располагает.

Уже в канун 19 марта можно было фиксировать своего рода «ничью»: власть не может управлять по-старому, оппозиция – по-старому оппонировать. К настоящему моменту это положение не изменилось: контроль власти уже не распространяется на многие «привычные» зоны, партийная оппозиция контролирует, например, контакты с Западом, хотя ситуация в целом выпадает из-под ее контроля. Здесь на первый план и выдвигается «третья сила» – гражданское сопротивление, те самые «дети революции», в желудках которых предположительно должны исчезнуть ее отцы-инициаторы (включая, конечно, Лукашенко). Как отмечают в свои диалогах М. Жбанков и А. Расинский, события, последовавшие после 19 марта, заставляют по-новому взглянуть на формулу, которую некогда озвучил А. Милинкевич: «Это будет революция духа»[7].

Сегодня многие комментаторы склоняются к тому, что эта революция – не столько прикладного политического, сколько духовного, символического плана, – происходит. С одной стороны, мы имеем всплеск низового демократического сопротивления (во многом связанный с тем, что власть изолировала часть партийных активистов), в более широком смысле – процесс политизации общества в целом. С другой – относительную беспомощность лидеров (Милинкевича, Ко-

зулина, Лукашенко), которые должны находиться впереди процесса, но в действительности отстают на шаг от реального его развития. Говоря о революции духа, М. Жбанков, отмечает два обстоятельства. Во-первых, это не столько революция Милинкевича, сколько революция каждого из независимо мыслящих людей, отдельно взятых граждан («гражданская революция»), «где каждый выступает не солдатом некоего вождя, а сражается за себя. За свое право независимого суждения, свободного выбора власти и формы самореализации». А во-вторых, «...в этом есть и слабый момент – движение лишено центра, а значит, неуправляемо. Протест без центра и без вождей. Городок на Октябрьской площади – резонанс, совпадение нескольких сотен и тысяч индивидуальных жизненных проектов»[8].

Следует, тем не менее, в самой этой децентрированности движения видеть и сильный момент: никто не управляет ризомой, и по этой самой причине она неуничтожима. Усматривать революцию мы можем уже в самом наличии такого самоорганизующегося движения: словно реальное развитие общества происходило под покровом социальной сети, вне зависимости от той паузы в «транзите», которую взяла власть. В любом случае мы можем говорить о том, что «гражданское сопротивление» становится реальным персонажем перманентной революции, в то время как все прочие – власть, партийная оппозиция, конформистское большинство – ее декорациями.

Многими уже высказана мысль о том, что происходит процесс объединения нации, но отнюдь не в некоем умозрительном, кем-то придуманном варианте. Как отмечает Жбанков, происходит спонтанное объединение индивидуальных судеб в коллективный проект-сценарий, который создается независимо от тех, кто претендует на его авторство[9]. Неустранимой константой этого объединительного процесса остается принцип перманентных выборов, предполагающий, что мы должны выбирать не столько вождей, не столько конкретный курс, сколько сам принцип, позволяющий этот выбор делать.

В известном смысле можно утверждать, что революционная корректировка ожидает все постсоветские режимы. Это не означает, что «оранжевая революция» будет прямо транслирована из Украины вовне: в строгом смысле всякая революция контекстуальна, т. е. не подчиняется универсальной революционной технологии. Постсоветская авторитарная форма организации власти будет радикально преобразована, и эта возможность изначально предполагается данной формой политической организации. Демократическая декорация рано или поздно станет подлинным лицом режима.

Примечания

1. Паньковский С. *Перманентные выборы* // «Наше мнение», 09. 03. 06: http://www.nmnby.org/pub/060306/09-m.html
2. Макаренко Б. *«Цветные революции» в контексте демократического транзита «Мир перемен»*. № 3. 16. 01. 2006 // Текст на Политком.Ру: http://www.politcom.ru/article.php?id=2025
3. Бауман З. *Свобода*. М.: Новое издательство, 2006. С. 15
4. *Революция 1917 года и Гражданская война в России* // Эфир «Радио свобода»: http://www.svoboda.org/programs/cicles/civilwar/civilwar.19970504.asp
5. Луман Н. *Власть*. М.: Праксис, 2001. С. 1.
6. Там же. С. 40.
7. Жбанков М., Расінскі А. *Рэвалюцыя духа, якой не чакалі. Борьба идет не за вождей, а за свободу личного выбора* // «Наше мнение», 25.03.06: http://www.nmnby.org/pub/060306/25-d.html
8. Там же.
9. Там же.

БЕЛОРУССКИЙ DÉTOURNEMENT, ИЛИ ИСКУССТВО ОБХОДНОГО МАНЕВРА КАК ПОЛИТИКА[1]

Альмира Усманова

Политика в эпоху явленности своего отсутствия

Мартовские события вокруг президентских выборов 2006 года заставили нас поверить в возможность того, о существовании чего, казалось, мы давно уже забыли: я имею в виду *политику*[2]. Многие из тех, кто ранее дистанцировался (преднамеренно или неосознанно) всеми возможными способами от любых форм политической деятельности, вдруг оказались в самой гуще уличных событий или же обнаружили в себе острую потребность высказаться публично (в любой форме). Симптоматично, что политическая активность, проявленная различными социальными группами во время проведения уличных манифестаций, повлекла за собой (или сопровождалась?) необычайную активизацию медийного пространства (виртуального, в первую очередь) и, что не может не радовать, стимулировала критическую рефлексию в отношении политической сферы и белорусской действительности. И то, и другое – как сами события, так и реакция на них – заслуживают самого пристального внимания аналитиков и исследователей, поскольку без адекватного понимания произошедшего невозможно (или, как минимум, проблематично) определение перспектив дальнейшей политической борьбы. Не претендуя на «последнее слово» в осмыслении белорусской политической ситуации, я хотела бы в рамках данной статьи остановиться на некоторых проблемах и вопросах, которые, на мой взгляд, не были должным образом осмыслены или проговорены. Главным образом, речь пойдет о политической эффективности различных форм культурного протеста в условиях белорусской действительности.

Начну с того, что белорусская политическая ситуация для стороннего наблюдателя выглядит хоть и диковинной, но все же не уникальной: в том, что нынешний президент, вопреки всему, остается на своем месте вот уже столько лет, а политический курс – такой, какой он есть, виноваты не только пресловутая инертность белорусов, нерешительность Евросоюза или же корыстные интересы России.[3] Пассивность и безразличие большинства по отношению к политической сфере, где власть принадлежит самоизолировавшемуся и уже никого не представляющему меньшинству, являются характерными чертами *кризиса политики*, который мы сегодня можем наблюдать в самых разных странах. Тот факт, что о политике все время говорят

(в связи с выборами президента или парламента, вооруженными конфликтами и военными угрозами, решениями или сменой кабинета министров, государственными визитами и «саммитами» на самом высшем уровне, декларациями и политическими скандалами, и так далее, и тому подобное), еще не означает, что мы имеем дело с политикой, а не с ее симулякром. Внешне разнообразные формы политического участия каждого индивида в жизни общества на поверку оказываются не более чем хорошо срежиссированным воспроизводством одних и тех же ритуальных действий. Французский философ Ален Бадью уверен, что «политика вступила в эпоху явленности своего отсутствия» и что мы имеем дело с давно «заброшенным полем деятельности», где, разумеется, производятся какие-то знаки, но «однообразие этих знаков таково, что связать себя с ними способен лишь некий автоматический субъект, очищенный от желаний, как от хлама»[4].

Тезис об отсутствии политики может быть истолкован по-разному: для одних — это в первую очередь кризис политической *репрезентации*; для других — это отсутствие политических *событий*; для третьих — политическая безучастность масс, их неспособность осознать *коллективное «мы»* и сформулировать свои требования. Впрочем, все эти толкования не противоречат, а, скорее, взаимодополняют и поясняют друг друга: так, согласно Бадью, событие можно считать политическим, только «если материя этого события коллективна»[5], то есть политика перестает быть фикцией, если ее «пробивает событие», но само политическое событие является «онтологически коллективным», обращенным ко всем и каждому. Жак Рансьер, в свою очередь, полагает, что политика имеет место быть лишь тогда, когда задействована «причастность непричастных (la part des sans part)» и учтены «в счет не идущие (le compte des incomptés)», что предполагает вовлеченность в политику «народа как политического субъекта в отличие от суммы частей населения»[6]. В то же время, спонтанная мобилизация масс (как это показал опыт Украины, Грузии, Киргизии) сама по себе не является решающим фактором в реанимации «политики», поскольку она не снимает вопроса о том, кто, кого и каким образом репрезентирует как в процессе борьбы за власть, так и после ее захвата.

В идеале (если попытаться представить себе, чем должна быть «политика») речь должна идти об учете мнений и интересов самых разных социальных групп в выработке государственных решений и о продуктивном взаимодействии всех участников политического процесса, при котором «низам» не безразлично, кто и как ими управляет, а «верхи» обязаны прислушиваться к мнению тех, кто делегировал их во власть, и, таким образом, эффективность управления, равно как и общественный консенсус обеспечиваются системой сдержек и противовесов на всех уровнях социального взаимодействия. В реальности же власть совершенно не заинтересована в «политике» и всячески стремится подавить ее проявления: поскольку, как пишет Жак Рансьер, в «политике» очень силен антигосударственный импульс, ведь «политика мешает хорошо управлять, спокойно управлять об-

ществом»[7]. Здесь кроется неустранимое противоречие – ведь по идее конечной целью политики как таковой является установление «хорошего государства», – которое как раз и препятствует реализации идеального сценария политической жизни общества.

Итак, государство не заинтересовано в политической активности масс и всячески симулирует политическую деятельность (способствуя распространению представления о политике как сфере производства решений «на самом высоком уровне»), в то время как массы, убаюканные разговорами о демократии и гражданском обществе и расслабившиеся от мысли, что заниматься политикой должны те, кому он, народ, передал полномочия говорить от его имени, остаются крайне апатичными в отношении политической жизни в целом и коллективным «мы» себя не ощущают, разве что в исключительных случаях, которые чаще всего отнюдь не связаны с нарушением конституционных прав или попранием свобод: выбор между колбасой и свободой неизменно решается в пользу колбасы. В этом плане трудно не согласиться с Михаилом Маяцким, который призывает не приписывать массам «врожденную демократичность»[8], тем более что сегодня демократия все чаще ассоциируется у обывателей с правом выбора не столько в области политики, сколько в сфере потребления (коль скоро «подлинно демократические» страны – это страны с либеральной экономикой и, соответственно, с развитым рынком товаров и услуг). Такой «гражданин голосует, переключая телевизор и делая покупки»[9].

В связи с этим уместно вспомнить, что для белорусов по-настоящему веским поводом для действительно массового (не сопоставимого с Чернобыльским шляхом или другими акциями оппозиции) протеста, случившегося несколько лет назад, стало головотяпство Белтелерадиокомпании, не сумевшей обеспечить трансляцию матчей чемпионата мира по футболу. Чрезвычайную активность среднестатистический белорус проявляет и в азартных играх с государством, о чем свидетельствует масштаб реализации лотерейных билетов. В то же время политическая инертность белорусов уже стала притчей во языцех. За примерами далеко ходить не надо: недавний опрос, организованный радио «Свобода» на улицах Гродно, поставил в тупик не только интервьюеров, но и аналитиков. Журналисты пытались выяснить, как обыватели относятся к арестам лидеров оппозиции. Выяснилось, что многие вообще ничего не слышали об арестах А. Козулина и А. Милинкевича (не говоря уже об остальных), другие же достаточно откровенно заявляли, что им все равно или что все это совершенно неважно. Согласно же некоторым социологическим опросам, мартовские события оставили равнодушными около 79% населения (сюда входят и те, кого возмутили… действия оппозиции[10]); видимо, это и есть послушный электорат Лукашенко, который голосует не столько «ЗА» него, сколько за свое право «сидеть на печи», а в конечном итоге – за поощряемые властью экономическую безответственность и невмешательство в политику.

Зачастую рассуждения о кризисе политики ведут к тезису об исчерпанности демократии и наступлении эры постдемократии[11] – таком политическом правлении, при котором решения принимаются очень ограниченным кругом функционеров, роль «демоса» как политического актора сведена к минимуму (как правило, его присутствие на политической арене носит сугубо декоративный характер), а демократические ценности и принципы выполняют функцию риторического инструмента (или прикрытия) для реализации и легитимации совсем других целей. Не будет преувеличением сказать, что демократия превратилась в догму, критика которой может повлечь за собой упреки в симпатиях к фашизму. Неудивительно, что даже в странах развитой демократии в последнее время наблюдается обострение «напряжения между полицейской и демократической логикой»[12] (кстати, это замечание Жака Рансьера также лишает белорусскую ситуацию «тоталитарной» исключительности).

Далее, представление об исчерпанности демократии неразрывно связано с кризисом политической репрезентации, поскольку для современного человека демократия может быть только «представительной» (что имеет мало общего с исходным значением термина «демократия»), а о том, что репрезентативная демократия возникла сравнительно недавно (в начале XIX века) и что на самом деле «репрезентация не имеет внутренней связи с демократией»[13], никто особенно и не говорит.

Кстати, было бы небезынтересно проанализировать, каким образом воплощается и трактуется идея репрезентативной демократии в Беларуси. С одной стороны, Лукашенко, ссылаясь на доведенную до абсурда цифру поддержавших на выборах избирателей, настаивает на том, что он – легитимный представитель всего народа, и обвиняет оппонентов в том, что они-то как раз никого не представляют; с другой – идея проведения всебелорусского народного собрания преподносилась в СМИ как возможность прямого диалога с народом, то есть как форма *прямой* демократии (как если бы в этом вече принимал участие весь народ, а не отдельные «выдвиженцы»). Словом, нынешняя белорусская власть или валяет дурака, чрезвычайно вольно обходясь с понятием репрезентативной демократии, или в самом деле не понимает, о чем говорит.

Вернемся к проблеме ситуативного сходства, или, точнее, тех глобальных тенденций в сфере политики, которые характерны и для Беларуси. Следующей типической чертой можно было бы считать *распад коллективных идентичностей*, что, в общем-то, логически связано с *кризисом политики*, ведь конститутивным признаком описанной выше модели политики является наличие действующего коллективного субъекта. В постсоветских обществах эта особенность имеет характер травматического отношения к любым формам коллективной самоорганизации и жизнедеятельности (это одна из причин, по которой левая идея в наших широтах вызывает стойкое неприятие) – от общежития и пионерского лагеря до забастовок и политических партий. Советский опыт принудительной «коллективизации», делающий границы между

приватным и публичным совершенно призрачными и превращающий человека в изгоя, если тот сопротивляется навязываемой групповой идентичности, до сих пор воспринимается многими как самая изощренная форма насилия над индивидом. Между тем, как отмечает Этьен Балибар, «построение коллективных идентичностей всегда происходит насильственно или, во всяком случае, с принуждением; это процесс построения некоей идеологической гегемонии. Всем историческим обществам, где существовали государства, цивилизации, культурные нормы, знаком этот вид принуждения»[14].

Характерно, что рабочий класс, который еще совсем недавно играл роль локомотива революции, являлся опорой профсоюзного движения и вообще рассматривался классиками как наиболее активная политическая сила с коллективизмом, можно сказать, в крови, в современной политике не играет ровным счетом никакой роли (даже в тех странах, где, как в Беларуси, много промышленных предприятий). Правда, угрозы массового рабочего движения сегодня не наблюдается нигде (даже в странах «третьего мира»): еще Маркузе считал рабочий класс «интегрированным в Систему» и утратившим революционную потенцию. По мнению Андре Горца, сегодня революционным агентом скорее следует считать «не-класс не-рабочих», то есть тех, кто, будучи свободным от «идеологии продуктивного труда», способен отречься от капиталистической рациональности и обрести индивидуальную автономию.[15]

Но даже в таком обществе, где в качестве ценностных ориентиров доминируют буржуазная нуклеарная семья и либеральный индивидуализм, некоторых форм групповой идентичности все равно не избежать. Так, в постсоветских странах, невзирая на отмеченное выше неприятие любых форм подчинения воле большинства, вместе с приходом капитализма постепенно прижилось и понятие «корпоративной солидарности»; по сути, речь идет не о солидарности с «трудящимися всех стран», но только со своими товарищами по цеху. Не будем сейчас обсуждать, чем выгодна такая модель локализуемой (во времени и пространстве) и регламентируемой солидарности капиталистическому порядку, отметим лишь, что и в современной политике мы можем обнаружить нечто похожее: я имею в виду гомогенность (возрастную, этническую или профессиональную) протестных групп.

Так, в Беларуси, несмотря на то что причины для недовольства существующим режимом есть фактически у каждой группы населения (для примера можно взять контрактную систему или обязательное распределение, не говоря уж о тотальном произволе в области политических свобод), ни о какой солидарности и взаимной поддержке различных слоев общества говорить не приходится[16]: каждая социальная группа защищает только свои «цеховые» интересы — вот почему протесты индивидуальных предпринимателей, Союза писателей, закрытых властями газет, ЕГУ, частных медицинских учреждений и других «корпораций» остались незамеченными для большинства белорусов. Только люди с очень богатым воображением могут представить себе, что в один прекрасный день протестное движение в нашей

стране будет включать в себя гетерогенные социальные группы и слои (как это было во французском Сопротивлении, которое смогло объединить всех — от рабочих до философов).

Оппозиционное движение в Беларуси также несет на себе следы этой корпоративности. Не удивительно, что для самой оппозиции является большим вопросом, что же она представляет собой в качестве «коллективного субъекта»[17]. Очевидно, что движущей силой этого движения являются представители интеллигенции (теперь все больше — безработные) и в последнее время студенты. Индивидуальные предприниматели образуют отдельную, хотя и не слишком активную, протестную группу. Крестьяне, рабочие, бизнесмены, пенсионеры, чиновники — все те, кто интегрирован в Систему посредством экономических рычагов, — к оппозиционному движению относятся не просто скептически, но порой и враждебно, а смысл выдвигаемых требований многим из них и вовсе не понятен. К этому стоит добавить, что хотя интеллектуалы и студенты во всех странах отличаются «особой чувствительностью», имеющей общую историю и политическую традицию, эти группы, по мнению Жака Рансьера, не способны «произвести какую-либо политическую субъективность в полном смысле слова», породить некое коллективное «Мы» (коллективное не только для себя, но и для других), которое было бы способно объединить и повести за собой самые разные социальные слои. Словом, они не в состоянии сформировать «силу, которая обобщала бы несправедливость»[18], что, собственно, и доказывает «новейшая история» оппозиционного движения в Беларуси. Вот почему индивиды и группы, участвующие в повстанческих движениях, узнают друг в друге «своих» и действуют сообразно выработанным ими же самими правилам (что особенно ярко проявляется в практике флэш-мобов), но круг их сторонников не расширяется. Максимум, чего можно ожидать от интеллектуалов, так это определенных усилий по мобилизации общественного мнения, по созданию и поддержанию публичного дискуссионного форума.

В этих условиях все большее значение приобретает феномен *негативной коллективности*, когда люди объединяются не по причине общности разделяемых убеждений и взглядов, а потому, что не видят позитивного выхода из наличной политической ситуации, не видят тех людей или партий, которые выражали бы их интересы. Потому они объединяются не «за», а «против». Хорошо известно, например, что среди противников действующего белорусского режима большинство составляют люди разочаровавшиеся, готовые проголосовать скорее «против всех», чем за кого-либо, и у оппозиции (у того же Милинкевича) по этому поводу нет никаких иллюзий. Правда, и здесь, как мы уже выяснили, проявляется не только и не столько белорусская специфика, сколько общая тенденция, которую можно наблюдать сегодня и в России, и во Франции, и в Италии, и в других странах.

Однако негативная коллективность имеет, как это ни парадоксально, свои плюсы. Как правило, позитивная программа — это прерогатива власти (вспомним до боли знакомое «ЗА Беларусь!»), задача

же оппозиции и всех тех, кто выступает «против», состоит в критике доминирующего идеологического проекта. Во всяком случае, такова должна быть позиция критического интеллектуала, о чем мне уже приходилось писать ранее: для него выступать «против всех», то есть не соглашаться ни с одной из противоборствующих сторон (за исключением временных, определенных политической необходимостью, альянсов) – это сознательный выбор и норма поведения.

Российский художник Анатолий Осмоловский предлагает воспользоваться неологизмом «антиллектуал», или «антиллигент», для обозначения описываемой здесь протестной поведенческой модели[19]. По его мнению, любая позитивная программа разъединяет сопротивление, негативная же сплачивает и дает возможность развития – особенно если реальных альтернатив действующей власти нет (как это сейчас выглядит в Беларуси или в России): чтобы альтернативы появились, нужно сначала расчистить поле, «освободить общественное сознание от тех перегородок, законов и запретов, которые мешают эти альтернативы помыслить»[20].

Может ли негативная коллективность привести к возникновению долговременного политического проекта? Осмоловский обращает внимание на одну интересную особенность избирательного процесса, которая указывает на структурную возможность оформления нового движения без каких-либо организационных затруднений: «графа "Против всех партий, блоков и кандидатов" в предвыборных бюллетенях есть[21], а вот политического субъекта, который озвучил бы такую политическую "программу" – нет. А ведь это движение без регистрации, без кулуарных интриг может принимать участие в выборах!»[22] Именно таким образом, считает Осмоловский, можно обрести политический голос и пытаться влиять на политическое развитие в стране – ведь графа «против всех» включена изначально в бюллетени (хотя массовое обращение к ней рассматривается властью как запрещенный прием). Этот парадоксальный проект наследует не только историческому анархизму, но и Ситуационистскому интернационалу, и философии Делёза и Гваттари, и другим концепциям; и, как я собираюсь показать ниже, именно эта идея (против всех партий) является ключевой в практике белорусских флэш-моберов[23].

Наконец, еще одной характерной особенностью современной политики является смещение борьбы за власть в область культурной репрезентации – о чем, собственно говоря, и пойдет речь далее в этой статье уже на материале недавних белорусских событий. С одной стороны, сегодня даже не сведущие в политике люди понимают, что современный политик – без продуманной PR-компании, без постоянного присутствия в масс-медиа, без поддержки людей, обладающих значительным культурным капиталом, – не может добиться успеха. С другой – речь все же идет о более сложных материях: а именно, о том, что социоэкономическая несправедливость не совпадает с культурной, но они могут взаимно усиливать друг друга; что борьба за культурное признание может отвлечь от решения вопросов, связанных с экономической эксплуатацией; что поведенческие паттерны

(обусловленные не столько индивидуальной психологией, сколько историческим опытом и моделями социализации), повседневные коммуникативные практики, культурные нормы и традиции оказывают существенное влияние на политическую культуру данного общества и его публичную сферу; и, наконец, что дискриминация в сфере культурной репрезентации может иметь серьезные последствия для консолидации новой политической силы и для реконфигурации всего политического поля. Иначе говоря, культура — это всегда политика, и vice versa.

Культура как пространство символической борьбы

Предлагая сконцентрироваться на вопросах культурной политики и репрезентации, я вовсе не хочу сказать, что вместо систематического изучения взаимосвязанности экономических, социальных и политических отношений мы должны всецело переключиться на «чисто культурные» проблемы. Вероятно, прежде необходимо сказать несколько слов о том, что имеется в виду под «культурой», чтобы затем пересмотреть ту роль, которую она играет в социальной жизни. В русле неомарксистской традиции культурных исследований было бы непростительным анахронизмом сегодня полагать, что культура является чем-то производным и вторичным по отношению к материальной сфере, равно как и усматривать в ней лишь автономное творение человеческого духа. Сегодня вообще не представляется возможным говорить о стабильном разграничении экономической и культурной жизни; мы имеем дело скорее со множественными взаимодетерминациями, ибо, с одной стороны, культура переплетается со всеми социальными практиками и видами деятельности (при таком подходе культура, собственно, и сама определяется как способ деятельности, или *way of life*), а с другой — экономический базис или политическая сфера являются проявлениями характерного для данного общества образа жизни и культурной традиции. Далее, культура не гомогенна, и в этом смысле было бы правильнее говорить о ней во множественном числе: в любом обществе доминирует культура господствующего класса, функционирование которой обеспечено соответствующими образовательными учреждениями, масс-медиа, литературными нормами языка, «высокими» искусствами, в то время как некоторые культуры (например, культура рабочего класса, культура геев, определенные этнические или молодежные культуры) остаются невидимыми.[24]

Антонио Грамши и впоследствии теоретики Франкфуртской школы рассматривали культуру как идеальный инструмент для навязывания идеологии доминирующего класса, как пространство, в котором происходит разжижение твердого тела власти и растекание этих импульсов по артериям культурного производства, а все ее институты и формы — в конечном счете, как инструменты политического господства. Для теоретиков Бирмингемского Центра культурных исследований (Раймонд Уильямс, Стюарт Холл) идея безусловного торжества доминирующей идеологии в сфере культуры не приемлема: будучи медиатором политических амбиций классов-антагонистов, культура

является пространством борьбы за символический капитал, она инициирует процесс обмена мнениями (negotiations) и выработку критических теорий. Культура не является ни полностью автономной, ни абсолютно детерминированной сферой, это скорее место проявления социальных различий и борьбы за идеологические приоритеты.[25] Существует тенденция воспринимать борьбу за культурное доминирование как «борьбу вкусов»; я же в данном случае хочу подчеркнуть, что речь должна идти не о противостоянии «высокой и низкой», «элитарной и массовой культур», дурного и хорошего вкусов, а в первую очередь – о борьбе различных социальных групп, осуществляемой посредством культуры.

Иначе говоря, культура выступает не только средством легитимации социального неравенства – она так же предлагает способы его преодоления: любая «революция» начинается с борьбы за переоценку культурных ценностей и изменение культурной политики.[26] Культурная политика – это борьба за то, чтобы сделать «видимой» историю и культуру определенной социальной группы, это борьба за репрезентацию, это борьба с доминирующей идеологией, узурпировавшей право на «именование», на натурализацию так называемого «здравого смысла», на представление «официальных версий» и реконструкцию исторического прошлого.[27]

Нынешняя белорусская власть отлично понимает, что сегодня политика делается посредством культуры, а не прямой репрессии (и хотя последняя применяется очень часто, последствия ее применения весьма сомнительны). Наиболее явно об этом свидетельствуют акции «ЗА Беларусь!» и те способы, которыми государственные СМИ узурпируют публичное пространство: осуждение сотен манифестантов на 15 суток и помещение их в тюремные изоляторы было гораздо менее эффективным способом убеждения, чем «промывание мозгов» обывателям с помощью бесплатных концертов с участием белорусских и российских исполнителей и репортажей с Октябрьской площади, подготовленных БТ и ОНТ.

Когда студенческая молодежь и тысячи интеллигентов, собравшихся на площади, с высшими образованиями, с кандидатскими и докторскими степенями, знанием иностранных языков, оказались «репрезентированными» на БТ слабоумной дворничихой из ЖЭС[28], якобы пришедшей на площадь в поисках новых друзей, то обыватель должен был поверить: вот это и есть «лицо» белорусской оппозиции... В качестве другого, не менее красноречивого примера можно вспомнить концерт, организованный 3 июля прошлого года на Октябрьской площади и транслировавшийся каналом ОНТ в прайм-тайм: картинка с многотысячной толпой, собравшейся по случаю праздника и хорошей погоды послушать белорусскую попсу (с мороженым, пивом и детьми), до отказа заполнившей площадь и все прилегающие улицы и скверы, нужна была лишь для того, чтобы подготовить кульминацию – появление на сцене в окружении поп-звезд лидера нации с проникновенной речью про «синеокую» и «русоволосую» Беларусь. Те ракурсы и панорамические съемки, которые использовали опера-

торы ОНТ для создания образа ликующего народа, по визуальному стилю, но, главное, по идеологическому пафосу напоминали фильмы Лени Рифенштааль.

Мыслящих белорусов «достал» не только действующий президент, но еще больше санкционированный им и усовершенствованный государственными масс-медиа, избиркомами и другими структурами механизм систематического присвоения наших голосов (голосов во всех смыслах): многократные попытки оппозиционных политиков защитить себя от произвола ни к чему не привели (достаточно упомянуть хотя бы недавнюю историю с иском Анатолия Лебедько к БТ и лично Александру Зимовскому), а про количественные показатели всех последних выборов и говорить нечего. Слова Пьера Бурдье о том, что «государство – это держатель монополии на легитимное символическое насилие»[29], как нельзя лучше описывают наш белорусский case. Лукашенко, обладающий наибольшим символическим капиталом (чья точка зрения изначально a priori воспринимается как легитимная, ибо он и есть само государство), может говорить все что угодно, используя любые выражения («отморозки», «уроды», «дебилы», «сволочи» – вот лишь некоторые образчики его лексикона, применяемого для описания протестного электората и оппозиции). И ему не только ничего за это не будет, но и более того – переведенные из приватной речи в статус публичных слова немедленно подхватываются масс-медиа и госчиновниками, в то время как несогласные с властью люди лишены права говорить вслух даже достаточно невинные вещи (вспомним, например, за что был осужден Левоневский, или о преследованиях молодофронтовцев за растяжки и граффити с лозунгом «Достал!»), будучи совершенно не защищенными перед лингвистическим произволом, чинимым властями и госСМИ.

В чем смысл борьбы за символическую власть, осуществляемой посредством культуры? Что происходит, когда одна социальная группа присваивает себе полномочия репрезентировать другую, лишая ее права голоса, и претендует на единственно «истинную» репрезентацию действительности?

Согласно Пьеру Бурдье, символическая власть – это worldmaking, или определенный способ конструирования мира, это власть «творить вещи при помощи слов». Слова, названия конструируют социальную реальность в той же степени, в какой ее выражают (на этом положении основана конструктивистская теория репрезентации), и являются, по мнению Бурдье, исключительными ставками в политической борьбе, конституируя легитимный способ в*и*дения действительности. Как в свое время показал К. Леви-Стросс, системы классификации, встроенные в язык, оперируют главным образом бинарными оппозициями: мужское–женское, высокий–низкий, свое–чужое и т. д., – которые организуют восприятие социального мира и, в конечном счете, сам этот мир.

Бурдье, применяя антропологическую схему для анализа социальных отношений, утверждает, что «борьба классификаций есть фундаментальное измерение классовой борьбы»[30]. Власть навязывать

определенное в*и*дение является прежде всего политической властью, то есть властью создавать группы и манипулировать объективной структурой общества. «Как всякий вид перформативного (производительного) дискурса, символическая власть должна быть основана на обладании символическим капиталом».[31] Условия борьбы за символический капитал, конечно, не равны для разных политических акторов. Например, государственные чиновники и все другие, кто наделен полномочиями выражать официальную (легитимную) точку зрения, позиционируют себя как носители здравого смысла: все, что говорят остальные, еще следует доказать.

Увы, наша ситуация такова, что других держателей символического капитала (каковыми в нормальных обществах являются, в первую очередь, люди, оппонирующие власти и относящиеся к интеллектуальной и культурной элите) в публичном пространстве Беларуси нет и быть не может: «эксперты», нанимаемые властью для легитимации ее действий, к этой категории не относятся, оппозиционные политики так и не сумели укрепить социальный авторитет, приобретенный в середине 1990-х (и виновато в этом не только БТ), а немногочисленные интеллектуалы, имеющие собственное мнение, за пределами литературных или философских кругов известны лишь очень специфическим «публикам» (слушателям Радио «Свобода», читателям *ARCHE* или *Нашай нівы* и т. д.).[32]

Борьба за символическую власть имеет специфическую логику и принимает различные формы. Так, эффективность этой борьбы, согласно Бурдье, «зависит от степени, в которой предполагаемый взгляд основан на реальности»[33]: предлагаемая властью картина действительности должна восприниматься как более или менее правдоподобная, не выходящая за рамки пресловутого здравого смысла. Трудно сказать, в какой именно момент и почему возникают сомнения в «неадекватности» навязываемой картины мира, но в случае мартовских событий тот факт, что власть довела цифру доверия действующему президенту до 83 процентов, вместо, скажем, 60, явился, возможно, решающим в дестабилизации обстановки: даже самым аполитичным людям стало понятно, что их «имеют», уже ничем не прикрываясь и безо всяких стеснений, и что эта цифра имеет мало общего с реальностью. Я нисколько не сомневаюсь, что в решении властей была определенная логика: количество проголосовавших «за» на прошлогоднем референдуме приближалось к 80 процентам, соответственно, на этих выборах народ должен был убедиться в том, что его «выбор» правильный и что количество сторонников особого белорусского пути еще больше выросло. Но усердие государственной пропаганды, выбравшей из всего разноцветия красок для репрезентации белорусской реальности лишь сочный поросячий цвет на фоне разрастающегося темного полчища врагов, окруживших сытую и стабильную Беларусь, возымело прямо противоположный запланированному эффект: расхождение между картинкой и действительностью стало казаться просто вопиющим.

Итак, те, кто известен и признан, способны навязать свою картину мира, задающую структуры восприятия и оценивания социальной реальности. Чтобы преобразовать этот мир, нужно трансформировать способы его восприятия, разрушить кажущуюся непротиворечивой и когерентной идеологическую матрицу, с помощью которой конструируется, легитимируется и воспроизводится status quo — тот порядок вещей, та социальная структура и та система управления, — который выгоден власть предержащим. Соответственно, основная задача для всех тех, кто надеется этот status quo изменить, — стать видимыми в публичном пространстве и вести систематическую работу по накоплению и упрочению символического капитала, чтобы те когнитивные и оценочные категории и классификации, которые нам навязаны властью, перестали восприниматься большинством как единственно истинные, а альтернативное видение мира стало доступным и понятным для многих. Именно эта задача (увеличение ставок в борьбе за символическую власть) решается в сфере культурной политики.

Эстетическое vs политическое: искусство как резервуар политических идей

Как было показано выше, именно через культурную репрезентацию осуществляется символическое насилие, без которого ни одна власть не может обойтись. И все же, несмотря на то что культура действительно «гасит» сопротивление недовольных, маскирует социальные антагонизмы и экономическое неравенство, тем не менее репрезентации могут оказаться обоюдоострым оружием: в некотором смысле сфера культуры является «ничьим» пространством, здесь власть всегда можно оспорить, даже если медиа всецело контролируются господствующим режимом. Главное — суметь (и успеть) создать как можно больше альтернативных доминирующей (официозной) культуре пространств и закрепиться на отвоеванных плацдармах. Белорусские пользователи интернета — они же наиболее активная в политическом плане социальная группа, поскольку интернет выступает и как источник альтернативной информации в обход контролируемых государством масс-медиа, и как средство коммуникации, выстраивания социальных сетей, — завоевали плацдармы в виде таких сайтов, как «Третий путь» или «Белжаба».

На мой взгляд, то, что мы могли наблюдать в Беларуси в течение последних трех месяцев, та стратегия политической борьбы и оппозиционной властям культурной политики лучше всего описывается с помощью ситуационистского термина *détournement*. У этого французского слова всегда было много значений: «отклонение», «изменение направления», «незаконное присвоение», «искажение», «злоупотребление» и др. Изъяв его из общеупотребительного словаря французского языка, Ги Дебор придал ему концептуальную, политико-эстетическую ценность. В *Дефинициях* (*Définitions*, 1958) данный термин определяется как «остранение предположенных эстетических элементов»[34], когда уже готовые эстетические продукты используются

для конструирования новых ситуаций. Остранение (термин, который нам хорошо знаком по работам русских формалистов) здесь несет ключевую смысловую нагрузку. Прием или образ извлекаются из родной среды (которая таким образом обесценивается), очищаются от исходного значения и приобретают новое, которое целиком зависит от контекста. Ги Дебор полагал, что в целях усовершенствования революционной пропаганды совершенно необходимо использовать накопленные человечеством культурные достижения, не давать им осесть мертвым грузом в библиотеках и музеях. Эффективность этого приема зависит от эмоционального воздействия и от того, как долго он сможет сопротивляться рационализации. Словом, чем абсурднее и непонятнее, тем лучше.

По мысли Ги Дебора, порывая с устоявшимися социальными и юридическими конвенциями, *détournement* может выполнять роль влиятельного культурного оружия в классовой борьбе пролетариата.[35] Поскольку речь идет о постоянной смене правил игры, что позволяет избежать косности и стагнации как на эстетическом, так и на политическом полях, то, соответственно, в дальнейшем ни одна ситуация не может избежать нового «присвоения». Не будем забывать о том, что тотальности спектакля, как считали ситуационисты, можно противопоставить только «игровые стратегии обесценивания, направленные на сингуляризацию всех событий, вещей и состояний»[36]. Иначе говоря, сингуляризация любого события или состояния предлагается как единственно возможная стратегия действий, соответствующая логике партизанской борьбы и облегчающая задачу освобождения от тотализирующих дефиниций. Создание «краткосрочных сред существования» — это и есть цель такой практики. Очевидно, в таком случае можно говорить о сопротивлении логике репрезентации, которая становится невозможной, если нет ни стабильного политического субъекта, ни устоявшихся конвенций, да и само событие не подлежит категоризации.

При этом роль публики, занимающей позицию спектакулярного невмешательства, минимизируется, а «актеры» уступают место «людям жизни», в новом смысле этого выражения. Следует заметить, что в рамках проекта, получившего название «Ситуационистский интернационал», радикально меняется смысл «искусства» и пересматривается роль людей, которые к нему причастны. Ги Дебор неоднократно подчеркивал, что для него искусство, замкнутое на самом себе, не преследующее никаких иных целей, кроме самовыражения художника, лишено всякого смысла.[37] Художник может и должен быть активным участником революционной борьбы, способным пробуждать самосознание масс и побуждать их к самостоятельности.

Итак, применительно к рассматриваемому нами случаю, немаловажно учитывать как исходное значение термина, так и «приобретенное». Ведь, с одной стороны, речь идет о тех уловках, обходных маневрах, окольных путях, которые могут быть использованы в ситуации, когда лобовое столкновение обречено на неудачу, а с другой — о том, что эстетические приемы в определенном контексте

не могут не иметь политического эффекта. Именно в этом ключе, как мне представляется, стоило бы анализировать значение таких феноменов, как флэш-моб, граффити, «сетевой фольклор» и другие разновидности эстетического сопротивления, которые заявили о себе в последнее время как основные способы борьбы за символическую власть на политической и культурной арене современной Беларуси.

Вообще говоря, в западных странах роль постоянного «возмутителя» публичной сферы приняло на себя актуальное искусство, особенно та его «разновидность», которая получила название *Public Art*. Не вдаваясь в детальное рассмотрение концептуальной программы «публичного искусства», ограничусь лишь некоторыми ремарками, позволяющими понять, в чем смысл той перформативной политики, которой вот уже много лет занимаются такие художники, как Кшиштоф Водичко, Ханс Хааке, Guerilla Girls, Лорен Лисон, Барбара Крюге, Джуди Чикаго, радикально переосмыслившие социальные функции искусства, политическое значение художественных сообществ и способы адресации городской публике.

Следует отметить, что далеко не всякое искусство, появляющееся в публичном пространстве, является собственно «публичным искусством». Я имею в виду традицию установления монументов, украшения зданий барельефами и другими декоративными элементами, используемыми для эстетизации городской среды, но в еще большей мере – для популяризации и увековечивания идеологических «посланий» действующей власти. Правда, при этом дискурс легитимации тех или иных городских проектов переустройства или декорирования всегда выдвигает на первый план соображения комфорта или эстетики, стремясь замаскировать политическую мотивацию того или иного решения. Любой из европейских городов представляет собой сложный архитектурный палимпсест, сообщающий нам не только о смене эстетических стилей, эволюции строительных технологий, особенностях процесса урбанизации, но и о той изнурительной борьбе властных режимов, каждый из которых стремился «присвоить» город себе – изменить до неузнаваемости облик городского пространства, равно как и способы его картографирования. В этом смысле разноцветные биг-борды с социальной рекламой, новые памятники, «европаперть» (на Немиге), все реконструированные центральные площади, новое здание Национальной библиотеки, современный минский «лэнд-арт» и прочие архитектурно-ландшафтные изыски лукашенковской эпохи[38] вполне соответствуют той «бюрократически-эстетической» форме публичной легитимации, которую с разной степенью успешности эксплуатирует любая (но в особенности авторитарная) власть.

Начиная с XVIII века город превращается в грандиозную, доступную для всех художественную «галерею», приспособленную влиятельными «кураторами» для временных и постоянных экспозиций, архитектурных инсталляций, медийных шоу, подземных и наземных «перформансов» и политических «хэппенингов». Очевидно, однако, что общедоступность такой галереи потенциально содержит в себе опасность проникновения на ее территорию «чужаков» – тех, кто по-

желает воспользоваться ее площадками для реализации собственных проектов, которые идеологически не только не совпадают с замыслами «кураторов», но, скорее, в корне им противоречат. Художники, относящие себя к *Public Art*, занимаются именно такого рода проектами, перекодируя городское пространство и провоцируя публику на переосмысление того, что им предлагается властью в качестве естественной среды обитания. Как считает Кшиштоф Водичко, один из наиболее признанных «публичных» художников, цель критического публичного искусства состоит не в радостно-безмятежном эксгибиционизме и не в пассивном коллаборационизме с кураторами этой гигантской «галереи», но в активном вторжении в социальную жизнь, в осознанном конструировании городской среды, в систематическом подрыве тех схем поведения и форм реакции, которые преобладают в нашем восприятии мира и повседневной коммуникации.[39] Художественная практика должна быть неразрывно связана с самыми острыми вопросами публичной сферы: «украшательство» же, на первый взгляд далекое от политики, всегда выполняет функцию легитимации доминирующего властного дискурса (не важно, идет ли речь о либеральной демократии либо об авторитарном режиме).

Не будет преувеличением сказать, что *Public Art* – это искусство, способное «предвосхищать фигуры политического сознания» (если позаимствовать мысль Алена Бадью[40]). Генеалогия «публичного искусства» восходит, в том числе, и к вышеупомянутому «Ситуационистскому интернационалу», наиболее последовательному и радикальному художественному проекту с точки зрения заявленных политических целей и способов борьбы с «обществом спектакля». Возможно, сегодня движение ситуационистов воспринимается как слишком утопическое, в чем-то наивное, в какой-то мере тоталитарное и в целом слишком пропитанное духом авангардизма (который, с точки зрения современного искусства, несколько отдает нафталином), но нельзя отрицать того, что он вдохнул новую жизнь в искусство, единственная перспектива выживания которого на тот момент (конец 1950-х гг.) связывалась с встраиванием в идеологию консюмеризма. Определив противника – «общество спектакля» с присущими методами управления, – ситуационисты выработали целостную стратегию критического сопротивления с учетом особенностей урбанистического общества. Независимо от того, в какой мере современные «публичные художники» разделяют политические и эстетические взгляды ситуационистов, все они сходятся в том, что искусство сегодня должно быть занято не «не-производством вещей», а «созданием культурной ситуации»[41].

В Беларуси «публичного искусства» нет, и взяться ему, как я полагаю, просто неоткуда: с одной стороны, нет «питательной» среды (то есть присущих развитому капитализму форм институциональной поддержки искусства, соответствующей городской инфраструктуры, источников финансирования и опыта кураторства подобных художественных проектов, да и социального «запроса» на актуальное искусство тоже нет). К тому же не стоит сбрасывать со счетов цен-

зуру и бюрократическую зашоренность властей, для которых любая акция, не соответствующая их представлению об искусстве и границах «дозволенности», опасна, а следовательно, проще ее запретить, чем разрешить. С другой стороны, мы имеем дело с поразительной незрелостью самого «актуального» белорусского искусства и неготовностью художников и кураторов к подобному — политическому — переосмыслению своей деятельности. Остается только согласиться с российскими художниками (при том, что тамошняя художественная среда принципиально отличается от белорусской), что проблема сегодняшнего искусства в постсоветских странах — это фатальная потеря коммуникаций с обществом и, как следствие, потеря социального статуса художника.[42]

Между тем именно эстетические средства могли бы стать самой эффективной формой борьбы в условиях тотальной политической несвободы. На примере современной Беларуси мы можем наблюдать, как на смену «бесхитростной прямолинейности тоталитарного диктата»[43] классических авторитарных режимов пришли методы «показной демократии»: власть сегодня — это прежде всего зрелище власти, опосредованное различными визуальными технологиями. И бороться с властью означает создавать альтернативные спектакли, подрывая идеологию этого зрелища изнутри, используя те же (медиально-эстетические) средства. Кроме того, не будем забывать о том, что и в западных странах, и у нас художник остается «единственным, по большому счету, деклассированным элементом, если правильно это понимать. То есть он не участвует в производственных отношениях напрямую. Он как бы отстранен, что позволяет ему критиковать это общество, занимать внешнюю позицию»[44]. В отличие от большинства работающих, связанных по рукам и ногам контрактами (что типично для Беларуси, где за политические взгляды многие уже поплатились местом работы), люди свободных профессий не рискуют быть уволенными. Более того, в отличие от советского или нацистского режимов, сегодняшний художник или писатель не обязан своими средствами производства соответствующему творческому союзу — в гораздо большей мере современный художник зависит от рынка. Наконец, посредством «поэтического языка» можно сказать гораздо больше, чем обычными вербальными средствами, а в области художественных практик можно изобрести множество форм и способов действия, которые не подлежат уголовному или административному преследованию. В Уголовном кодексе нет статьи за иконокластию. Правда, увы, есть статьи за хулиганство или за разжигание национальной и религиозной розни, которые власти все чаще применяют в отношении будоражащих общественное мнение художественных акций, примером чему может быть и российская история с Авдеем Тер-Оганьяном, устроившим в Москве перформанс с разрубанием икон возле Манежа, и выставка «Осторожно, религия!», и другие художественные события. Отдельно можно обсуждать историю с перепечаткой датских карикатур («Лики Мухаммеда»), выгоду от которой поимела даже бело-

русская власть, найдя таким образом повод расправиться с оппозиционной газетой «Згода».

Пожалуй, единственным «публичным» художником в современной Беларуси можно считать Алеся Пушкина – ведь за исключением его акций возле резиденции президента или у входа в Художественный музей больше и вспомнить-то нечего. Интересно, что в этом качестве его признает и власть: как иначе объяснить недавнее происшествие, когда Пушкина арестовали и продержали в кутузке три дня как подозреваемого в том, что он облил черной краской памятник Герою Советского Союза Василию Чеботареву. На первый взгляд, ничего, кроме абсурда, в логике властей усмотреть нельзя: как будто только у профессионального художника можно найти черную краску и как если бы его художественного воображения и мастерства хватало лишь на то, чтобы «очернить» бюст официального героя. Однако в действительности это не так уж глупо: репутация Алеся Пушкина как художника, имеющего совершенно определенные политические взгляды и регулярно бросающего публичный вызов властям своими перформансами, заставила крупкинскую милицию заподозрить в содеянном именно его, а не школьных хулиганов или местных алкоголиков.

Отсутствие политически ангажированного искусства – это всего лишь один и, я бы сказала, частный аспект целого комплекса проблем: отсутствия современного искусства в целом, что бы по этому поводу ни мнили сами белорусские художники или же их кураторы. Частные галереи, как правило, работают в режиме классической выставки, состоящей из висящих на стенах картин или расставленных в пространстве скульптур; зачастую главная их функция – обеспечить встречу продавца и покупателя.[45] Музей современного искусства своему названию не соответствует, его «идеология» глубоко архаична, а темы выставок и способ организации выставочного пространства не выдерживают никакой критики. Фактически нет коллективных проектов – если только в качестве таковых не рассматривать коллективные выставки, в которых вся «коллективность» состоит в том, что куратор собрал работы разных художников в одном выставочном зале. Интеллектуальный уровень и профессиональная компетенция критиков оставляет желать много лучшего. Не созданы институциональные условия ни для подготовки нового поколения художников и кураторов, ни для презентации их деятельности. Редкие попытки шведских, польских, немецких художников и критиков привить на этой почве идею современного искусства (особенно в области видео- и net-арта) оборачиваются проведением спорадических акций, которые не в состоянии повлиять на ситуацию в целом. Я не исключаю, что наша особая дремучесть в этом вопросе (по сравнению, например, с Литвой или Польшей) объясняется отчасти тем, что в Беларуси не функционировали соросовские центры искусств или другие альтернативные государственным образовательные арт-институции, которые во всех других восточноевропейских странах на протяжении десяти лет поддерживали новаторские художественные проекты, создавали библиотеки, помогали художникам и кураторам включаться в между-

народный контекст – словом, работали на создание нового художественного сообщества.

Наших художников хватает, максимум, на очередную выставку натюрмортов без названий (á tout faire), которые затем оседают в буржуазных интерьерах дорогих мебельных салонов или в офисах банков и компаний; на репродуцирование разнокалиберных бацилл, котиков, мадонн и т. д. или же на поливание себя томатным соком где-нибудь в провинциальном европейском городе при стечении праздных зевак – разумеется, безо всякой политически артикулированной цели. Достаточно беглого ознакомления с названиями выставок, проходящих на данный момент в Минске: «От сердца к сердцу...», «Солнцеворот», «Муза художника», «Озаренный мир», «Палитра души», «Мой взгляд», «Ангелы. Между небом и землей», «Бабьи лета, зимы, весны», «Ночные полеты» и др., – чтобы удостовериться в том, что все вышесказанное является не злобным выпадом в адрес белорусского искусства, а, скорее, грустной констатацией сложившегося положения дел.

Конечно, я не спорю, отдельные художники получили известность и признание как в Беларуси, так и за ее пределами – прежде всего как люди, владеющие в совершенстве ремеслом; фестиваль перформанса «Новинки» – действительно важное культурное событие для белорусов и т .д. Проблема в другом: ни одно из этих мероприятий не стало *событием* за пределами «мира искусства», не стало фактом социальной жизни; и очень немногие из хороших художников, зарабатывающих себе на жизнь своим мастерством, претендуют на то, чтобы считаться культурными героями (я имею в виду Владимира Цеслера, Артура Клинова, Алеся Пушкина и еще двух-трех человек), способными донести до широких масс внятный культурный или политический message... В Беларуси искусство и политика существуют в параллельных пространствах, и, боюсь, никого этот факт особенно не волнует. Искусство в наших широтах понимается в первую очередь как средство самовыражения художника, а во вторую – как способ эстетического облагораживания окружающей среды, но вовсе не как инструмент культурной политики или способ коммуникации, способный артикулировать проблемы насилия, страха, боли, дискриминации, ксенофобии, нетерпимости и т. д.

Итак, поскольку белорусское искусство самоустранилось из сферы политического перформанса, эту функцию приняли на себя другие культурные формы: граффити, сетевая субкультура (ненормативные и «фольклорные» ресурсы) и флэш-мобы, то есть такие коллективные проекты, которые с помощью эстетических средств используют виртуальное либо городское пространство для создания альтернативной публичной сферы.

...«Город — герой, а ты?» — скромный текст, напечатанный на белой бумаге, взывал ко мне лично, и сила его убеждения была сопоставима разве что со знаменитым советским плакатом Д. Моора «ТЫ записался добровольцем?». Послание от неизвестного отправителя застигло меня врасплох: этот и другие листочки (с разными по содержанию, но столь же лаконичными текстами), расклеенные на деревьях, водостоках, зданиях в центре города, резко контрастировали с привычным визуальным фоном. Спустя год этот вопрос мне кажется еще более актуальным, чем показался тогда. Более того, только теперь он приобрел для меня смысл.



Тогда же, год назад, в статье для *Топоса*, посвященного проблеме «Академия и власть», я задавалась вопросом: «Существует ли в Беларуси публичное пространство? То есть такое *пространство*, *место*, *способ*, наконец, *возможность* для выражения своей точки зрения на общество и происходящие в нем процессы?»[46] Ответ был очевиден: конечно же, нет. Банальные истины — типа того, что право на публичное высказывание и открытое обсуждение существующих в обществе проблем должен иметь любой гражданин, независимо от возраста, пола, статуса, классовой или этнической принадлежности, а все социальные практики могут и должны быть предметом публичной дискуссии и публичного выражения мнений, — в Беларуси не работают; более того, здесь это вообще не «истины», а провокационные утверждения. Та модель «гражданского общества», которую власть пытается нам навязать, не предполагает никаких иных, отличных от точки зрения государственных органов мнений и точек зрения. Есть «народ», который «плывет в одной лодке с государством», и есть «не-народ», то есть протестный электорат, который в этой лодке плыть отказывается, а потому вообще не заслуживает того, чтобы на него обращали внимание.[47] Используя мысль Жака Рансьера, можно сказать, что понимаемый таким образом социальный *консенсус* вовсе не является ни продуманным согласием, касающимся общего дела, ни решением договориться, несмотря на конфликты; такой консенсус по сути представляет собой подавление любых разногласий, в результате чего общество предстает как непротиворечивая, самодостаточная и идентичная самой себе целостность.[48]

Между тем, даже если несогласных немного, их интересы должны быть репрезентированы, услышаны и приняты в расчет теми, кто правит, если они хотят управлять от имени «народа». Хотя, что значит «немного»? Даже один процент от десятимиллионного населения – это уже немало… Именно для этой цели – медиации общественных интересов и поиска общего языка – необходимо публичное пространство. Публичная сфера позволяет сделать зреющие в обществе конфликты видимыми, предупредить их обострение и найти приемлемый для вовлеченных сторон выход. Конфликт не просто «продуктивен, но и конститутивен: политика существует только в споре и именно через спор о том, что "дано". <…> Когда конфликт упраздняется, его место занимают формы неприкрытой, несимволизируемой ненависти к Другим»[49].

Для Беларуси эти слова Рансьера звучат как диагноз: я имею в виду нарастающую ненависть к Другому на фоне декларируемого властью достигнутого социального консенсуса. Слишком большое количество людей оказалось «вычеркнутым» из избирательных списков – и в буквальном, и в переносном смыслах. И вот это количество исключенных из легитимного политического поля людей (многие из которых выключены также из экономической жизни государства, поскольку были уволены с госпредприятий или же лишены возможности вести свой бизнес) оказалось вовлеченным в реальную политику, осознав необходимость коллективных действий в борьбе за право быть видимыми.

Итак, очевидно, что если возможности быть услышанным нет, если пространства для диалога и подлинного межгруппового взаимодействия ограничены, то раньше или позже такого рода напряженность найдет другой выход.[50] Что и произошло в марте этого года, в канун, во время и после президентских выборов.

В каких же формах осуществлялся протест? Когда парламент, масс-медиа, учебные заведения, театры, музеи и другие культурные институции полностью оккупированы властью – остается только улица. Тот факт, что люди вышли на Октябрьскую площадь, свидетельствует о том, что личный контакт, возможность видеть и слышать друг друга, способность действовать сообща по-прежнему имеют значение даже в эпоху кризиса публичной сферы (в ее классическом понимании). К тому же выход на площадь означал, что в нашей стране идея политической репрезентации настолько скомпрометирована, что люди испытывают необходимость представлять не «народ», «не оппозицию», а самих себя, и тем самым отказываются от услуг посредников, якобы представляющих их интересы в политике. (Официальные СМИ и сам Лукашенко, настаивая на том, что эта «кучка отморозков» никого не представляет, в некотором смысле правы.) Кроме того, специфика белорусской ситуации состоит и в том, что мобилизация виртуального сообщества и непосредственная коммуникация на площади (лицом к лицу) взаимно дополняли друг друга (информацию о том, что происходит на площади, о нуждах палаточного городка, репрессиях властей, об акциях и митингах мы узнавали из интернета, а сам интернет

в эти дни «жил» событиями площади); собственно говоря, это продуктивное взаимодействие площади и интернета явилось главным фактором возрождения публичной сферы в Беларуси.

Было бы уместно рассматривать феномен Октябрьской площади после 19 марта не только в контексте восстановления в правах, точнее, возвращения к исторически первой форме демократического волеизъявления (площадь), или же как место рождения политического Субъекта (о чем шла речь в статьях О. Шпараги или Г. Миненкова), но и как способ изменения политической и культурной топографии Минска. Площадь, которую создал и избрал для своих официозных мероприятий режим, на несколько дней стала пространством карнавала, локусом несанкционированного властью массового протеста, местом для проведения коллективного публичного перформанса.

Наш город до недавних пор являлся всего лишь гигантским выставочным залом для неосоцреалистических фантазий власти, выступающей здесь в качестве главного куратора. Социально-политическая реклама, спекулировавшая на лозунге «За [такую-то] Беларусь!», на некоторое время совершенно вытеснила из визуального пространства города коммерческую рекламу. Помимо биг-бордов, все доступные вертикальные поверхности превратились в одну огромную пропагандистскую площадку. Взять хотя бы общественный транспорт: там, где ранее красовалась какая-нибудь безобидная *Gallina Blanca*, на время предвыборной кампании воцарилось все же то же красно-зеленое убожество со словом «За».

По мысли Пьера Бурдье, пространственное господство – это привилегированная форма осуществления господства: «Присвоенное пространство есть одно из тех мест, где власть утверждается и осуществляется, без сомнения, в самой хитроумной своей форме – как символическое или незамечаемое насилие: архитектурные пространства, чьи бессловесные приказы адресуются непосредственно к телу, владеют им совершенно так же, как этикет дворцовых обществ, как реверансы и уважение, которое рождается из отдаленности <…>, точнее, из взаимного отдаления на почтительную дистанцию. Эти архитектурные пространства несомненно являются наиболее важными составляющими символичности власти, благодаря самой их незаметности»[51]. Соответственно, борьба за пространственные «прибыли» есть составная часть политической борьбы и vice versa: политика всегда предполагает определенную пространственную мобильность (может быть, поэтому политика свершается всегда в городах?).

Значение палаточного городка (который власть упорно называла «майданчиком», пытаясь таким образом вписать его в собственную символическую матрицу), на мой взгляд, состояло в том, что таким образом была осуществлена *приватизация (или приватное освоение) публичного пространства*: благодаря людям, оставшимся на площади в палатках, город превратился в арену коллективных политических действий, в результате которых само городское пространство подверглось культурному перекодированию, стало «своим». С помощью граффити («Достал!» и др.), растяжек на мостах и зданиях, флэш-мобов и па-



латочного городка люди обрели шанс «выговориться».

Тот факт, что Лукашенко оттянул инаугурацию до 8 апреля, до наступления теплых деньков, чтобы иметь возможность выйти к «народу» в лучах собственной славы и апрельского солнца, и те мероприятия по наведению порядка, которые были проведены на площади (включая ночную «зачистку» палаточного городка), — свидетельствуют о параноидальном страхе режима потерять это «место». Между тем символическая борьба за площадь уже проиграна: для огромного количества людей это место отныне называется площадью Кастуся Калиновского. Не случайно один из недавних флэш-мобов так и назывался: «Площадь наша!».

Теперь власть желает утвердить свою легитимность, которая чуть было не пошатнулась, очистив сакральное пространство от демократической скверны. Все, кто смотрел трансляцию инаугурации, были поражены тем, насколько город стал чистым и пустым на время проведения церемонии — вероятно, таким власть хотела бы видеть его всегда. «Народный избранник», как настоящий тиран, прибыл к месту своей инаугурации в абсолютном одиночестве: ни ликующей толпы, ни праздных зевак, ни привычно спешащих по своим делам прохожих — на центральных проспектах не было НИКОГО. Совершенно не случайно в период существования палаточного городка, всю неделю после 19 марта, все телеканалы, казалось, зациклились на одной теме (что было связано еще и с информационном вакуумом, учитывая, что главным «ньюсмейкером» в нашей стране является президент, а тут глава государства исчез с экранов на несколько дней). Этой темой стала навязчивая, на грани маниакальности, тяга минчан к чистоте: Октябрьская площадь, занятая протестующими, представала в этих репортажах как какой-нибудь Двор объедков, как парижская клоака XVIII века, как потенциальный источник чумы или другой (социальной) эпидемии, наводящей ужас на обывателей и пугающей непредсказуемыми последствиями коммунальные и эпидемические службы города.

Отношения Минска с историей всегда были непростыми: художники и интеллектуалы, которых тяготит нехватка «исторического чувства», обусловленная архитектурной бедностью родного города, время от времени возвращаются к проблеме конструирования городского мифа (одним из наиболее удачных проектов такого рода, несомненно, является *Горад СОНца* Артура Клинова). Не исключено, что история политического противостояния режиму Лукашенко, получившая новый импульс в мартовские дни и развернувшаяся на улицах столицы, наконец решит эту задачу: на смену символической пустотности Минска, который все еще остается витриной социализма,

зримым воплощением социального и эстетического застоя, придет новая культурная парадигма городского пространства. А пока молодежные флэш-мобы реализуют стратегию мобильности в городе, ставшем идеальной декорацией для взлелеянной и с такими усилиями поддерживаемой Лукашенко идеи стабильности.

Флэш-моб: перформативная политика коллективного субъекта

Вот уже на протяжении нескольких месяцев и чуть ли не каждый день белорусские новостные сайты и газеты обращаются к теме флэш-мобов: не писал о них только ленивый. В отсутствие реальной политики флэш-мобы придают нашей политической и культурной жизни некоторую интригу, создают *видимость* политической борьбы в ситуации послевыборного затишья. Для меня этот феномен интересен в связи с теми тенденциями в политической (и культурной) сфере, о которых речь шла выше: кризис репрезентации, феномен негативной коллективности, борьба за символическую власть в публичном пространстве, наконец, специфика формирования публичной сферы в эпоху интернета. Практика флэш-мобов является, на мой взгляд, концентрированным, если не сказать идеальным воплощением всех этих тенденций, но, кроме того, в ней, безусловно, отражены и особенности белорусской ситуации: тотальная «зачистка» политического поля режимом Лукашенко и используемые им методы подавления политического инакомыслия, раскол в лагере оппозиции, рост молодежной активности на фоне безразличия и инертности большей части населения, нехватка креативного мышления в политической жизни в целом, и на этом фоне – формирование новых видов социального взаимодействия. Для исследователей современной культуры флэш-моб представляет особый интерес как детище эпохи интернета, поскольку именно благодаря ему (и особенно в нынешней Беларуси) возможны оповещение и быстрая мобилизация желающих принять участие в акциях. Кроме того, медийный характер этой формы коллективных действий обусловлен не только посредничеством интернета в организационном плане: флэш-моб имеет смысл лишь постольку, поскольку сам является медиа-событием – если не в сам момент действия, то в виде последующего «эха» в СМИ.

Начнем с проблемы коллективного субъекта как субъекта политических действий. Именно ввиду нерешенности этого вопроса в белорусской политике флэш-мобы, способные порождать сингулярные всеобщности, то есть ассоциированного на короткое время коллективного субъекта, и стали наиболее востребованной формой политического протеста. Как мы выяснили ранее, проблема субъекта является решающей для политической жизни, при этом «политическое конструирование субъекта предполагает логику легитимации и исключения»[52] как со стороны власти, так и со стороны оппозиции: незарегистрированные партии и движения, лидеры, чей статус не подтвержден процедурами голосования и представительства, постоянно испытывают нехватку легитимности, которая с правовой точки зрения

делает практически невозможным их участие в политической жизни общества. Белорусский режим неустанно выслеживает и контролирует действия оппозиционных политических субъектов, в то время как белорусская оппозиция подобным образом отмежевывается (как бы осуществляет символическое исключение) от всех тех, кого она считает партизанами от политики, не наделенными достаточными полномочиями для участия в «большой политике», и, напротив, стремится «присвоить» себе символический капитал всех тех, кто на этом поле себя уже проявил.

Организаторы и участники флэш-мобов интуитивно ощутили, что *детерриториализация* (флэш-моберы не нуждаются ни в регистрации своей «организации» с соответствующим юридическим адресом, ни в разрешении на проведение акции в строго определенном месте; более того, постоянное перемещение в пространстве – это одно из условий игры); *децентрализация* (отсутствие управленческой иерархии и «центрального штаба» является одним из принципиальных условий флэш-моба[53]), *анонимность* участников и *временность объединения* являются единственно возможными стратегиями, позволяющими избежать политической «субъективности», которая была бы непременно использована властью для выявления, опознания, навешивания ярлыков и последующего вытеснения из политического поля.

То, что эта стратегия пока беспроигрышна, мы видим по действиям стражей порядка, которые пытаются отслеживать флэш-моберов, но при этом очевидным образом не знают, что делать с людьми, которые «несанкционированно» собираются в самых разных местах, чтобы возложить цветы, надуть шары, оплатить счета или поесть мороженого. Власть пытается «опознать» своего невидимого врага, используя при этом стандартную процедуру проверки паспортов, но это не имеет никакого смысла, поскольку флэш-моберы не заявляют ни о своей политической программе, ни о своих требованиях, ни о том, что они представляют какую-либо организацию. Этот затянувшийся праздник непослушания раздражает власть, и поэтому сейчас она озаботилась тем, чтобы подвести под действия «толпы» юридические основания, по которым можно было бы эти действия каким-то образом квалифицировать на языке права.

Не менее показательно и то, что другая сторона – оппозиция – не замедлила воспользоваться символическим капиталом флэш-моберов, объявив о «создании центра по проведению акций мирного протеста – политических флэш-мобов» (на базе штаба движения демократических перемен «За свободу») с целью координации деятельности всех инициаторов и участников флэш-мобов (как говорится в сообщении БелаПАН). То есть штаб Милинкевича вознамерился возглавить движение флэш-моберов, подчинив его собственной стратегии политической борьбы. Свое желание взять под крыло юных анархистов штаб объясняет необходимостью обеспечения безопасности участников: «каждая акция будет рассматриваться юристами на предмет соответствия белорусскому законодательству».

Таким образом, мы видим, что на тесном поле белорусской политики выстраивание «третьего пути», ведение игры не по правилам, установленным как властью, так и действующей оппозицией (и в первую очередь – отказ от политической субъектности), является более чем проблематичным. Между тем, совершенно необходимо, чтобы в публичной сфере были представлены многообразные формы ассоциаций, организаций и гражданских инициатив, через взаимодействие которых и происходит «публичное собеседование». Публичная сфера должна быть децентрализованной, включать в себя многообразные и пересекающиеся социальные сети и объединения.[54]

Не удивительно, что участники флэш-мобов возмутились, узнав о настойчивом желании лидеров оппозиции оказать помощь в организации и проведении акций, поскольку такие заявления в корне противоречат идее флэш-моба. Не вызывает сомнения тот факт, что флэш-моберы не желают никого «репрезентировать» (в том числе и оппозицию): в проведении акций анонимная толпа всегда являет саму себя и действует от собственного лица, и полномочия этой «социальной группы» не могут быть отчуждены, делегированы какому-то одному лицу или организации. Здесь мне опять хотелось бы вспомнить о российских интеллектуалах и художниках, объединившихся в проект «Против всех партий!», в манифесте которых говорится: «Деструктивным сообществам разочарованных неудачников, "ушедших в пиар", мы собираемся противопоставить нерепрезентативные группы <…>, не предполагающие объединения в какие-то реальные легитимные партии, но способные, тем не менее, активно влиять на политический процесс. <…> Мы в поиске конструктивных форм коллективности, но мы не желаем представлять ничьи интересы, даже свои собственные (ибо их еще только предстоит обнаружить)»[55].

Далее, отказ от репрезентации и, тем самым, от участия в коммуникации согласно установленным конвенциям, на мой взгляд, проявляется еще и в том, что флэш-моб – это способ высказывания, не требующий слов, более того, избегающий слов и заменяющий их перформативными акциями (что, как мы увидим далее, роднит флэш-моберов с «публичными художниками»). В самом деле, публичное пространство засорено словами – в нем не хватает действий, акций, перформансов. К тому же применительно к белорусским реалиям молчание является гораздо более безопасной стратегией публичного поведения, поскольку за каждое неосторожное слово можно поплатиться (например, как только на несанкционированном митинге прозвучит хоть одно слово, обращенное к собравшимся, появляется повод для преследования организаторов). Другой вопрос, что принципиальный отказ от вербальной коммуникации (как друг с другом, так и с «публикой») порождает «эффект Бангалора» – протеста в закрытом пространстве, как его недавно назвал Максим Жбанков[56], поскольку о правилах поведения и о смысле акции в целом знают лишь «посвященные» – те, кто принимает в ней участие, кто ознакомился заранее в интернете с мобправилами. Результатом такого акоммуникативного поведения является снижение эффективности всей акции

в целом: флэш-моберы делают вид, что они собрались случайно и что ничего не происходит, а «профанное большинство» (публика) не всегда в состоянии адекватно интерпретировать происходящее, поскольку не знакомо с кодами такой коммуникации «без слов»[57] и относится к увиденному как к курьезу.

Несмотря на то что феномен флэш-моба приобрел отчетливую белорусскую специфику (заявив о себе в качестве разновидности политического протеста), а, кроме того, воспринимается нами исключительно как продукт сетевой культуры, я думаю, что было бы неправильно забывать об «исторических» корнях – идеологии анархизма, партизанском движении и, конечно же, «публичном искусстве» и других формах современного концептуализма. И анархисты, и партизаны, и художники – все они являются «профессионалами свободы» (Ги Дебор).

Нежелание флэш-моберов становиться частью какого-либо долговременного и опознаваемого политического проекта (что можно было бы, наверное, обозначить как политику «невлипания») означает, что это движение действительно не ставит перед собой таких политических задач, как внедрение в органы представительной власти и воздействие на социум легитимными, общепринятыми политическими методами. Как и в случае с движением «Против всех партий!», здесь важен сам бунт – массовый аффектированный бунт без четко означенных целей и средств. Я, правда, не думаю, что в случае «белорусского ситуационизма» мы имеем дело с до конца проговоренной и осмысленной политической идеей – в духе, например, той, которую представляют Анатолий Осмоловский и его товарищи: сама программа сингулярного коллективного перформанса не оформлена в виде манифеста, да и «лидеров», способных эту идею сформулировать и озвучить, у этого движения по определению быть не может. Кроме того, наш «ситуационизм» является не столько результатом рефлексивного отношения к стратегии и тактике политической борьбы, сколько прямым порождением (в смысле, стихийным ответом) «ситуации», созданной властью, когда любой протест рассматривается как нелегитимное насилие, которое должно быть подавлено, когда легальные способы выражения своего мнения в рамках традиционных демократических институтов и форм не возможны.

Но именно по этой причине – ввиду невозможности выиграть бой по правилам в силу неравных условий борьбы – образ партизана, бойца невидимого фронта, презирающего общепринятые конвенции ведения войны, так дорог любому белорусу, а флэш-моберу – вдвойне. «Собраться в одном месте, идя десятью разными дорогами, нанести сильный удар, а затем снова рассеяться, сколь возможно быстро и бесшумно, чтобы атаковать в другом месте»[58] – эта цитата может в равной степени относиться как к действиям партизанов, так и участников флэш-мобов. Что характерно: партизанские действия настолько же удобны для слабой стороны, насколько и опасны для сильной, поскольку в партизанской войне враг превращается «в *вирус*, который одновременно смертелен и одновременно невидим. Это нецивилизо-

ванный враг. Вирус — это метафора для такого агента, которому не требуется поле боя»[59]. Партизанские действия подтачивают силы противника исподтишка, он никогда не знает, где будет нанесен удар, и поэтому вынужден поддерживать боеготовность даже в глубоком тылу. Было бы, наверное, слишком самонадеянно рассчитывать на то,



что белорусские флэш-моберы измотают «врага» своими непредсказуемыми действиями еще до того, как в борьбу включатся реальные политические противники, однако определенное сходство ситуаций налицо.

Как это ни странно, но в поиске аналогий между феноменом *Public Art* и действиями флэш-моберов нам также придется использовать дискурс войны. Многие публичные художники говорят о том, что один из наиболее эффективных маневров, позволяющих захватить публичное пространство, — это атака с флангов («wing attack»), которая должна сбить с толку «врага», уверенного в том, что его атакуют по центру. Например, в нашем случае ОМОН и другие подразделения, стоящие на страже порядка, ожидают лобового столкновения в центре города — на той же Октябрьской площади, тогда как активные действия по «захвату» городского пространства в это время осуществляются совершенно в других местах — в парках и скверах, на улицах спальных районов, во дворах многоэтажек, у памятников и т. д. «Публичный» художник, равно как и участник флэш-моба, не рассчитывает на понимание и содействие городских властей (но часто они в них и не нуждаются вовсе), отдавая себе отчет в том, что скорее всего разрешение получено не будет, но поскольку бюрократия ночью спит, то можно устраивать акции именно в это время суток, а кроме того, как считает Кшиштоф Водичко[60], нужно постоянно перемещаться, менять площадки для проектов, чтобы иметь возможность их реализовывать, избегая лобовой атаки с властями.

Далее, у *Public Art* должна быть публика[61], не пассивные потребители «спектакля», а вовлеченные в коллективное действо субъекты, переживающие момент единения. Чтобы такую публику создать, необходимо задействовать различные способы адресации и продумать стратегию захвата транзитных мест — тех самых, где проходящая толпа может неожиданно превратиться в «публику». Именно здесь, как мне представляется, возникает возможность появления коллективного политического субъекта, даже если толпа организуется лишь на какое-то время: коллективные действия позволяют индивиду на психосоматическом уровне ощутить или во-*образ*ить политическую альтернативу. Но в этом смысле флэш-моберы со своей публикой работают недостаточно активно — их message обращен скорее к ау-



дитории СМИ, чем к непосредственно вовлеченной в «спектакль» публике.

Некоторые полагают, и не без оснований, что генеалогия политического флэш-моба в Беларуси ведет свой отсчет с акций, организованных студентами ЕГУ в августе 2004 года. Именно те акции протеста превратили феномен флэш-моба в нечто большее, чем забава городской молодежи. Но, как мне представляется, флэш-мобу уготована недолговечная политическая карьера: его ситуативная политизация, произошедшая в Беларуси, с одной стороны, сделала этот феномен действительно популярной формой протеста, но, с другой – игровая, несерьезная, аполитичная «природа» делает двусмысленность в его интерпретации совершенно неизбежной.

Любая манифестация или забастовка с политическими требованиями всегда могут быть превращены в безобидное, по сути, карнавальное действо (с чебурашками, шариками, пилами, чучелами, чупа-чупсами и т. п.). И именно по этой причине данный термин вошел в лексикон БТ – телевидения, которое, как правило, «замечает» только позитивные, то есть осуществляемые во имя и от лица нынешней власти, акции БРСМ; все остальные флэш-мобы могут происходить только за пределами нашей страны. Например, в одной из новостных передач (в начале мая этого года) корреспондент БТ, рассказывая о протестах нелегальных эмигрантов в Америке, которые, выступая против нового иммиграционного законодательства, отказались выходить на работу и делать покупки в течение одного дня, назвала эту акцию «флэш-мобом» (редуцируя тем самым однодневный и действительно массовый протест к «моментальной» стихии локального флэш-моба), и это весьма показательно. Прежде всего, это означает, что в «политическом бессознательном» белорусской власти флэш-моб уже успел обрести статус политического протеста; более того, власть пытается его присвоить – не столько даже с целью привлечения на свою сторону молодежи (во всех этих официозных акциях лидерство принадлежит БРСМ), сколько для создания «картинки», необходимой для ведения пропагандистской войны на международной арене. От подобного «присвоения» сегодня невозможно застраховаться. В самом деле: серийное повторение одного и того же статичного кадра, многократного déjà-vu с выступлением пресс-секретаря МИД, озвучивающим очередной протест против вмешательства в дела Беларуси, является малоэффективной, а главное, не зрелищной (не соответствующей современной логике «медийных войн») формой реакции на действия западных СМИ и международных структур. Куда как выигрышнее смотрится какое-нибудь действо возле американского, или польского, или литовского, посольства (в других местах БРСМ свои акции не проводит), которое и интригу создает, и продуцирует эф-

фект гражданского общества. Собственно говоря, здесь режим оказывается жертвой собственной политики: если бы гражданское общество не было уничтожено, то властям не нужно было бы имитировать его существование — в любом нормальном обществе публичная сфера сама производит разнообразные реакции на происходящие события и в ней сосуществуют разные, зачастую антагонистичные политические дискурсы.

Что нас ждет дальше? Как долго флэш-мобы для белорусов будут оставаться основной формой политической активности, не только оттягивающей на себя внимание властей, но и позволяющей пассивному большинству вести привычный образ жизни по принципу «спектакулярного невмешательства»? История показывает, что «чисто культурный протест» везде имеет крайне ограниченный спектр действия (например, тот же 1968 год раскрыл «грандиозный потенциал именно культурного протеста, но за три-четыре года этот потенциал, вначале казавшийся колоссальной разрушительной силой, был полностью выработан»[62]). В этом смысле действия флэш-моберов (так же, как художников и интеллектуалов) не должны рассматриваться как высшая и наиболее эффективная форма протеста в сложившихся условиях. Мы всего лишь должны сделать «свою работу» по формированию публичного дискурса. Речь должна идти скорее об исторической миссии такой формы протеста, о временной функции стихийного творчества «толпы» — с тем, чтобы постепенно протестное анархическое поведение приобрело формы консолидированного движения, осознающего свои политические задачи и готового к их реализации.[63]

Стратегия и тактика партизанской войны в культурном и политическом пространстве Беларуси

Мы привыкли к сюрреалистичности происходящего вокруг — нас уже мало что может удивить. То, что для постороннего наблюдателя кажется вопиющим, немыслимым, убийственно нелепым, для большинства белорусов — всего лишь норма жизни. Наверное, только таким образом можно прокомментировать результаты президентских выборов да и сам ход избирательной кампании. Поскольку власть осуществляет свою легитимацию в высшей степени абсурдными действиями, постольку здравый смысл и рациональные объяснения тут совершенно не уместны. Сотни людей, попавших за решетку без «суда и следствия», по совершенно идиотским обвинениям, могут это подтвердить своими историями: как выяснилось, даже проход по площади с бубликом в кармане или же с «детективным романом» под авторством Аристотеля может быть чреват 15 сутками, не говоря уж о естественном желании защитить себя от пуль неизвестных бандитов, нападающих на твою машину. Но это совершенно не означает, что нам следует смириться с существующим положением вещей и сидеть сложа руки, пока «все это» само не пройдет, как дурной сон. Мартовские манифестации и митинги показали, что у многих белорусов есть воля к изменению, к участию в политической борьбе, пусть даже

и без иллюзий на скорую победу. Роль бунтарей-одиночек и небольших, казалось бы, обреченных на неудачу политических групп и движений имеет в исторической перспективе огромный смысл: пример личной борьбы помогает другим избавиться от страха и поверить в то, что солидарность, коллективизм, взаимопомощь не пустые слова.

В том, что произошло, есть и другая польза: ныне действующий режим, перейдя границы здравого смысла и установленных им же самим правил, тем самым обнажив свою сущность, сделал первый шаг к политическому самоубийству. Тридцать лет назад лидеры известного леворадикального движения РАФ (сформировавшегося в Германии в 1970-е гг. и вошедшего в историю лишь как террористическая организация, в то время как пафос их борьбы остался для многих непонятным) выдвинули лозунг: «Мы должны выманить фашизм наружу!». Ценой своих жизней и свободы им это удалось. Напомню, речь шла о том, чтобы сделать видимым развившийся в послевоенные годы в ФРГ «институциональный фашизм», создавший для себя целый арсенал средств подавления и готовый пустить его в ход при малейших признаках сопротивления. (Для нас сегодня это звучит очень актуально, не правда ли? В Германии, правда, проблема заключалась еще и в том, что не только государство, но общество были латентно фашистскими, однако в этом смысле все белорусское общество можно смело считать латентно коллаборационистским.) Реализация этой цели требовала «внести разрыв с Системой в повседневную жизнь»[64], необходимо было противопоставить политике уничтожения и подавления, проводившейся государством по отношению к меньшинству и оппозиции, практику систематического неподчинения.

Очевидно, для того чтобы выманить «фашизм наружу» и консолидировать всех тех, кто не желает подчиняться репрессивному режиму, сегодня могут применяться совершенно различные средства (не требующие ни человеческих жертв, ни применения оружия). Еще Мишель Фуко писал о том, что насколько множественными являются очаги власти, настолько же множественными должны быть и очаги сопротивления — именно эта мысль и должна овладеть массами в наших условиях. Как было показано выше, акции флэш-моберов вкупе с другими культурными и политическими инициативами решают именно эту задачу подрыва власти, компрометации Системы многочисленными атаками с флангов, что одновременно дает эффект консолидации и готовит почву для объединения самых разных социальных групп на поле политической борьбы. Партизанские действия, вспыхивающие то тут, то там, позволяют перехватить у власти инициативу и не отвечать на навязываемые ею вопросы (поскольку это означало бы подчинение и превращение в законопослушных «субъектов»), а формулировать свои собственные «запросы».

Итак, *необходимо создавать ситуации*, а *не запоздало реагировать на демарши со стороны власти*. Властный «беспредел» требует адекватного ответа, и в наших условиях таким ответом могут быть действия, подчиняющиеся лишь сюрреалистической логике, то есть воспринимаемые как абсурдные уже самой властью[65]. (Вспоминается

один фильм – сага о независимой Польше, – где польское воинство выезжало на конях и ожесточенно рубило шашками... танки противника. Это выглядело абсурдно, но героически, и запомнилось надолго.) Иначе говоря, необходимо «изобретать политику» (в этом я совершенно согласна с Ольгой Шпарагой), но для этого нужны креатив, фантазия и чувство юмора. Необходимо запускать «утки» и сочинять анекдоты (ведь даже в сталинские времена, несмотря на жестокий террор, существовал обширный репертуар анекдотов и шуток, хотя за каждую из них можно было поплатиться свободой, если не жизнью[66]). Необходимо реагировать на каждую глупость или лизоблюдство со стороны пишущих, пляшущих и поющих сторонников режима.[67] Необходимо создавать новые (альтернативные) репрезентации и бороться с дурным вкусом – прежде всего потому, что опора режима Лукашенко – это пресловутый petit-bourgeois, мелкий буржуа (человек, для которого существование Другого – это скандал, угрожающий его существованию, как писал Ролан Барт в *Мифологиях*), покупающий среднебелорусскую мебель, читающий *Советскую Белоруссию* и радостно потребляющий белорусскую же попсу. Если пока не удается изменить политический status quo этой группы, необходимо хотя бы попробовать лишить ее образ жизни и ценности статуса доминирующей культурной нормы.

Хал Фостер, известный американский теоретик, подчеркивая значение культуры в современную эпоху, отмечает, что *homo significans* вытеснил *homo oeconomicus* на периферию социальной жизни.[68] Культурные коды репрезентации работают сегодня как «средства производства» (производства идентичности в первую очередь): например, дискриминация по признаку пола, расы или класса, прежде чем мы сталкиваемся с ней на рабочем месте, уже является частью нашего культурного «бэкграунда» благодаря масс-медиа и таким институциям, как детский сад или школа. Подчинение существующему порядку вещей, принятие его в качестве «нормы», осуществляется через культурные (они же – идеологические) институты. Потребляя культурные коды, мы воспроизводим систему. Соответственно, пафос моей статьи состоит в том, что, трансформируя эти коды, подрывая их, подменяя другими, мы сможем сформировать питательную среду для нового политического субъекта, который будет в состоянии изменить систему.

Выше я уже писала о том, что необходимость символической борьбы в сфере культуры обусловлена как особой ролью культурных репрезентаций в нашу эпоху, так и особенностями политической ситуации в нашем конкретном случае: когда сделать вроде бы ничего нельзя, но кое-что – все-таки можно. Если ничего нельзя сделать на площади или других открытых для широкой публики площадках – у нас остаются окна наших домов, салоны автомобилей (что и доказывает пример с водителем микроавтобуса, который ездил по улицам Минска с плакатом в окне «БТ лжет!»)[69] или же наша одежда (как способ манифестации не только культурной, но и политической идентичности), и прочие приватные микропространства, которые мы в со-

стоянии сделать публичными, если умело использовать разнообразные визуальные средства протеста. Немаловажно, чтобы все эти действия были срежиссированы как медиа-события — в присутствии журналистов, с фиксацией на камеру и с последующим попаданием в новости дня. Более того, я полагаю, что арсенал подобных средств следует заимствовать и у коммерческой рекламы, учитывая колоссальный опыт, связанный со способами манипуляции сообщением и риторической обработки его адресатов. Хорошая реклама в этом смысле всегда являлась искусством убеждения.[70]

Спектр возможных контркультурных акций потенциально безграничен. Учитывая, что государственные СМИ свели до минимума возможность непосредственного волеизъявления (через прямой эфир), можно воспользоваться другими каналами, например FM, и в какой-нибудь передаче «Рабочий полдень» поздравить любимую тещу, заказав для нее песню «Слушай батьку»; вдобавок хорошо бы успеть сказать что-нибудь крамольное — так, чтобы фоновая и малоосмысленная болтовня ди-джеев, перемежаемая шедеврами 75%-го разгула белорусской попсы, неожиданно приобрела другой смысл и другое звучание. Подобным образом можно инициировать общественную кампанию по доведению процента присутствия в радиоэфире белорусской попсы (а равно и всего остального на белорусском рынке — от колбасы до трусов) до известных 83%. Пускай цифра 83 обретет сакральность и тотальность, можно даже поставить ей монумент в одном из центральных скверов… Словом, чтобы осуществлять политику культурной деконструкции, совершенно необходимо наличие множественных центров инициативы, но, кроме того, необходимо «диверсифицировать» объекты воздействия: например, бороться стоило бы не с Лукашенко лично, а с его «защитным поясом», то есть с теми культурными нормами, на которых воспитывается лукашенковский электорат.



Помимо создания альтернативных репрезентаций, совершенно необходимо подвергать коррозии, подрывать изнутри, «расщеплять» существующие репрезентации, создаваемые властью. Иконокластия может и должна быть осмыслена как эффективное средство борьбы за культурное пространство, за отвоевание территории для политического инакомыслия. Не хочу ломиться в открытую дверь, поскольку, к счастью, мы уже имеем весьма удачные примеры подобной контррепрезентации. Я имею в виду проекты, порожденные сетевой культурой: «народное телевидение» на сайте *Третьего пути* (http://multclub.org), коллекцию карикатур на Лукашенко (www.svoboden.org/ru/cartoons); проект «Лимоны» (http://limony.org); собрание «фотожаб» на белорусскую тематику (http://belzhaba.com) и др. Ироническая дистанция, позволяющая снизить пафос и обнажить

напыщенную абсурдность доминирующей идеологии, формируется за счет «паразитирования» на этом дискурсе, расщепления его изнутри, девалоризации используемых слов и образов, в результате чего заполонившая публичное пространство официальная культура становится не просто смешной, но в высшей степени нелепой. (Чего стоит один только лозунг «ЗА половозрелую Беларусь!», подкрепленный весьма убедительной картинкой на «Белжабе»!)

Что все это должно дать на выходе? Хочется верить, что власть можно переиграть с помощью интеллекта и чувства юмора (против лома должен быть прием!), что благодаря изобретению собственных «террорологик» наконец-то осуществится интеллектуализация политики, которой нам так не хватает, что появятся новые, альтернативные, культурные пространства и языки (для этого нужно делать их видимыми, а главное – интересными). Словом, нужно расчистить и отвоевать площадь в символическом смысле – площадь как олицетворение публичного пространства, которое не принадлежит никому и меньше всего – власти.

Примечания

1 Пока я писала этот текст, меня не оставляла мысль, что он является логическим продолжением трех других, ранее опубликованных и на тот момент, как мне казалось, содержательно не связанных между собой статей. Пожалуй, единственное, что их могло тогда объединять, – это сам журнал *Топос*, в котором все они и были опубликованы. См.: *Общество спектакля в эпоху коммодифицированного марксизма // Топос.* 2001. № 4. С. 116–126; *Репрезентация как присвоение: к проблеме существования Другого в дискурсе // Топос.* 2001. № 4. С. 50–66; *Философия и позиция критического интеллектуала сегодня // Топос.* 2005. № 2 (10). С. 40–62.

2 Здесь и далее я буду заключать *политику* в кавычки либо выделять курсивом, чтобы подчеркнуть проблематичность и множественность значений, подразумеваемых этим термином. То есть «политика» не рассматривается как нечто актуально существующее или само собой разумеющееся; скорее, наоборот: это термин, который, как пустое означающее, может отсылать к чему угодно. Здесь речь идет, в основном, о политике как о (философском) концепте, как его трактуют, например, Жак Рансьер и Ален Бадью. К тому же, следуя мысли Алена Бадью, было бы более корректно использовать этот термин во множественном числе.

3 Рассуждения о «харизме» Лукашенко или правильности его экономического курса как наиболее убедительных аргументах в пользу нынешнего режима оставим для белорусских СМИ.

4 Бадью А. *Можно ли мыслить политику? Краткий курс метаполитики.* М., 2005. С. 9.

5 Там же. С. 218.

6 *Демократия как политическая форма. Интервью с Жаком Рансьером // № 1. Зима.* 2003. Москва: «Ecce homo». С. 125.

7 Там же. С. 126.

8 См.: Маяцкий М. *Демократия как судьба // Логос.* 2004, № 2.

9 Там же.

10 Мартинович В. *«Мы – люди маленькие» // Белгазета,* 8 мая 2006 г.

11 О «постдемократии», в частности, писал Жак Рансьер (*La Mésentente. Politique et Philosophie.* Paris, 1995), имея в виду, что демократия превратилась в «завершенную» демократию, в мертвую политическую форму, став официальной доктриной либерального государства.

12 *Демократия как политическая форма. Интервью с Жаком Рансьером // № 1. Зима.* 2003. С. 112.

13 Анкерсмит Ф. *Репрезентативная демократия. Эстетический подход к конфликту и компромиссу // Логос.* 2004, № 2.

14 Балибар Э. *Глобализация/Цивилизация – 2 // № 1. Зима.* 2003. С. 113.

15 См.: Gorz A. *Farewell to the Working Class.* Boston: South Ed Press, 1982.

16 О диагнозе непроявленной (я бы сказала, хронически не проявляемой белорусами) солидарности см.: Шпарага О. *Политическая топография Беларуси: солидарность, сообщества, университет // Топос.* 2005, № 1 (10). С. 72–79.

17 Именно поэтому перед выборами в Беларуси возникла необходимость в создании оппозиционной коалиции и выдвижении «единого» кандидата. Коалиционная политика представляет собой такую форму политической организации, которая позволяет обеспечивать определенное единство действий при сохранении внутренних различий между объединяющимися партиями. Солидарность, единство совершенно необходимы для успешных политических действий, но в то же время коалиционная политика не предполагает коллективной идентичности в качестве предпосылки успеха. Здесь речь может идти лишь о временных единствах в контексте конкретных действий. Более того, как считает американская исследовательница Джудит Батлер, коалиции нужно признать свои внутренние противоречия и научиться действовать, сохраняя их в неприкосновенности, ибо определенные формы фрагментации и раздробленности могут иметь позитивный эффект, позволяя избежать прямой конфронтации с властью, которая будет не в состоянии изолировать оппонента или воспрепятствовать его деятельности, поскольку в таком случае ей придется воевать на два (или более) фронта. (Более подробно об этом см.: Батлер Дж. *Гендерное беспокойство* // В кн.: *Антология гендерной теории.* Мн.: Пропилеи, 2000. С. 316–317.)

18 *Демократия как политическая форма...* С. 127.

19 Осмоловский А. *«Не с кем? Ни с кем! – Против всех <партий>!!!» // № 1. Зима.* 2003. Москва: «Ecce homo». С. 177.

20 Там же. С. 170.

21 По иронии судьбы, как раз когда я заканчивала работу над этой статьей, по российским телеканалам прошла новость (9 июня 2006 г.), что Дума собирается принять закон, в соответствии с которым статьи «Против всех» в бюллетенях новых избирательных кампаний больше не будет. Один из депутатов прокомментировал это решение как средство «облегчить» россиянам проблему выбора, а заодно избавить их от «детской болезни» под названием «Баба-яга против». Очевидно, что власть почувствовала опасность, исходящую от этой альтернативы, в условиях, когда электорат теряет доверие к своим «репрезентантам», и решила застраховаться от будущих неприятностей. Народ должен голосовать только «За»‥, другого ему «не дано».

22 Осмоловский А. Цит. соч. С. 173.

23 «Против» не то же самое, что «без», однако некоторые аналогии напрашиваются сами собой: по мнению Алена Бадью, сегодня актуальна «политика без партий» (Бадью А. Цит. соч. С. 203), и мы могли воочию убедиться, что такая политика востребована в Беларуси. Ведь не только лукашенковский электорат, привыкший к единоличному правлению своего избранника, но и те, кто вышел на Октябрьскую площадь, относятся к партийным объединениям и их стратегии политической борьбы с большим скепсисом. Для Лукашенко же любая сильная партия (пусть даже и партия власти) означала бы появление опасных сорняков на зачищенном им политическом поле: ведь в этом случае пришлось бы либо делиться властью, либо, как минимум, играть по правилам.

24 В основу готовящейся сейчас к публикации коллективной монографии *Белорусский FORMAT* легла мысль о том, что, по сути, вся современная белорусская культура является «невидимой» – за исключением той, которая «отформатирована» властью и которая заполнила собой все медийное пространство.

[25] Jonson R. *What is cultural studies anyway?* In: Storey J., ed. *What is Cultural Studies?* Arnold, 1996. P. 76.
[26] Jordan G., Weedon Ch. *Cultural Politics. Class, Gender, Race and the Postmodern World.* Blackwell, 1995. P. 5.
[27] Кстати, неомарксисты были убеждены в том, что роль критически настроенных интеллектуалов повышается по мере того, как усложняются механизмы репрессии и доминирования в обществе, поскольку именно интеллектуалы берут на себя функцию разоблачения доминирующей идеологии и формирования стратегии культурного сопротивления власти.
[28] Здесь я ссылаюсь на один из новостных репортажей, подготовленных БТ в дни мартовского противостояния: главным персонажем – якобы человеком из палаточного лагеря – стала молодая девушка с явными признаками синдрома Дауна, работающая дворником в одном из минских ЖЭС.
[29] Бурдье П. *Социальное пространство и символическая власть* // В кн.: *Социология социального пространства.* СПб., 2005. С. 83.
[30] Там же. С. 86.
[31] Там же. С. 84.
[32] Судя по государственным газетам и телевидению, на роль культурных героев нашего времени претендуют исключительно представители белорусской попсы. Они же «властители умов», если учесть, с какой частотой появляются на страницах газет интервью с ними по самым разным поводам.
[33] Бурдье П. Цит. соч. С. 84.
[34] Цит. по: Кефал А. *Ситуация – 1. Дебор и другие* // Дебор Ги. *Общество спектакля.* М., 2000. С. 176.
[35] См.: Debord G. *A User's Guide to Détournement. Les Lévres Nues. № 8* (May 1956); http://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/usersguide.html
[36] Кефал А. Цит. соч. С. 180.
[37] См., в частности, *A User's Guide to Détournement* (http://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/usersguide.html).
[38] О которых лучше всего можно было бы сказать словами Кшиштофа Водичко: «Such beautification is uglification».
[39] См.: Wodiczko K. *Strategies of Public Address: Which Media, Which Publics?* In: Foster Hal, ed. *Discussions in Contemporary Culture. Number one.* New York: The New Press, 1987. P. 41–45.
[40] Бадью А. Цит. соч. С. 25.
[41] *Круглый стол: «Против всех партий». Социально-художественный аспект // № 1. Зима.* 2003. С. 171.
[42] Там же.
[43] Дебор Ги. *Общество спектакля.* М., 2000. С. 140.
[44] *Круглый стол: «Против всех партий»*... С. 176.
[45] Некоторое разнообразие в эту безрадостную картину нашей культурной жизни вносят лишь галереи «Nova» и отчасти «Подземка».
[46] Усманова А. *Философия и позиция критического интеллектуала сегодня* // *Топос.* 2005, № 2 (10). С. 40.
[47] В связи с этим чрезвычайно показательны высказывания Лукашенко по поводу протестного электората, произнесенные на встрече с Путиным 28 апреля с. г. в Питере. В ответ на вопрос Путина, удастся ли белорусскому президенту после выборов объединить различные политические силы вокруг решения основных проблем государства, Лукашенко ответил следующим образом (в печатной версии «СБ»): «Знаете, у нас нет такой проблемы <...>. За действующего президента проголосовало практически все население. В том числе и часть того электората, который должен был проголосовать за оппозицию. Поэтому если и консолидировать, то это еще одну-две тысячи человек, к сожалению, малолеток, которые пытались за деньги что-то дестабилизировать. Я не могу сказать, что они нам не важны. И две тысячи – это очень важно. Но если они будут иную позицию занимать, мы и без них обойдемся. Мы страну удержим в нужном направлении».

Обращает на себя внимание количество несуразностей в этом высказывании: и заявление о том, что за него проголосовали те, кто должен был по идее голосовать за оппозицию (что это: косвенное признание фальсификации выборов?), и тезис о том, что оппозиция будет включена в политическую жизнь государства только при условии, что перестанет быть оппозицией (то есть если пойдет за Лукашенко), и главное – редуцирование оппозиционных сил до 1–2 тысяч малолеток (это как раз тот самый образ манифестантов на Октябрьской площади, который был «сконструирован» БТ). То, что на площади людей было гораздо больше, что там были далеко не малолетки и, тем более, что протестный электорат при всем желании не может быть редуцирован до одной тысячи – все это читается между строк его выступления, высвечивая противоречивость представленной картины.

48 *Демократия как политическая форма. Интервью с Жаком Рансьером // № 1. Зима.* 2003. С. 128.

49 Там же. С. 128–129.

50 См.: Бенхабиб С. *Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру.* М., 2003.

51 Бурдье П. *Физическое и социальное пространства* // В кн.: *Социология социального пространства.* СПб.: Алетейя, 2005. С. 52, 57.

52 Батлер Дж. *Гендерное беспокойство* // В кн.: *Антология гендерной теории.* Мн.: Пропилеи, 2000. С. 301.

53 Децентрализацию некоторые аналитики рассматривают также как эффект сетевой коммуникации.

54 См. более подробно на эту тему: Бенхабиб С. *Притязания культуры.* М., 2003. С. 166–167.

55 См.: *От редакции // № 1. Зима.* 2003. Москва: «Ecce homo». С. 4.

56 См.: Жбанков М., Расинский А. *Флэш супрацiў. Личные счеты с реальностью*: http://nmnby.org, 15 мая 2006 г.

57 Там же.

58 Бродель Ф. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.* Том 3: Время мира. М., 1992. с. 55.

59 См.: Михель Д. *Мужчины, мальчики и поле боя // Гендерные исследования.* 2001, 6. С. 133–149.

60 Wodiczko K. Op. cit. P. 48.

61 Rosler M. *On the Public Function of Art*, in Foster Hal, ed. *Discussions in Contemporary Culture. Number one.* New York: The New Press, 1987. P. 13.

62 См.: *Интервью журнала "№ 1" с Борисом Кагарлицким» // № 1. Зима.* 2003. С. 49.

63 Позволю себе привести достаточно обширную цитату из беседы Максима Жбанкова с Андреем Расинским, опубликованной недавно на сайте *Наше мнение*, поскольку, на мой взгляд, в ней идет речь о той же проблеме, хотя и в несколько ином ракурсе: «Сегодняшние флэш-мобы имеют достаточно узкое предназначение. Они важны как оформление социального недовольства, которое не может себя выразить, по понятным причинам, ни через официальные, властные каналы, ни – по столь же понятным причинам – через традиционные структуры оппозиционных партий и союзов. Это третья сила, которая возникает в качестве нового игрока на поле неравной битвы оппозиции и политической власти. И я бы предполагал здесь в перспективе определенную эволюцию. Либо коллективное движение начнет оформляться в некую стратегическую активность – и тогда потребуются структуры, либо активность погаснет, как гаснет костер, в который вовремя не подброшено топливо». (См.: Жбанков М., Расинский А. *Флэш супрацiў. Личные счеты с реальностью*: http://nmnby.org, 15 мая 2006 г.)

64 См.: *"Они хотят нас сломить". Беседа с политзаключенными – бойцами Роте Армее Фракцион (РАФ) // № 1. Зима.* 2003. С. 26, 31.

65 Еще одна реплика Максима Жбанкова: «А вот в этом еще один аспект флэш-мобов: они демонстрируют изначальную абсурдность существующих властных рецептов решения проблем. Идут девочки со свечками возле "МакДональдса" – их

тормозит здоровенный омоновец, начинает переписывать у них паспортные данные, а потом долго думает: отдать им паспорта или нет. Налицо неадекватная, глупая – и в законе никак не прописанная – деятельность по пресечению… неизвестно чего». (См.: Жбанков М., Расинский А. Цит. статья: http://nmnby.org, 15 мая 2006 г.).

[66] Почему-то вспоминается анекдот 1940-х гг. про членов Академии наук, пытающихся пробиться в первые ряды собравшихся на Красной площади, чтобы первыми поцеловать тирана в заднее место.

[67] Например, журналисты, пишущие пасквильные материалы для государственных СМИ, обязаны знать, что прогибание перед властью не может остаться для них безнаказанным: их лица и имена должны быть известны людям, равно как и лица «ученых», создающих ореол легитимности действующей власти своими экзит-полами и прочими манипуляциями с общественным мнением. В конце концов, азаренки, козиятки, прокоповы, новиковы и все остальные – живут среди нас, и необходимо создавать такие ситуации, в которых бытовой остракизм сделает их существование некомфортным. Как власть поступает с нами, так и мы должны поступать с «нею». Поэтому, например, кажущаяся, на первый взгляд, совершенно бесполезной попытка Анатолия Лебедько призвать к ответу Александра Зимовского через суд, в конечном счете, очень важна, поскольку лишает тех, кто имеет «право голоса», чувства безнаказанности и заставляет искать оправдание своим действиям, смотря глаза в глаза тем, кого они обливают грязью.

[68] Foster Hal Recodings. *Art, Spectacle. Cultural Politics*. Bay Press, 1985. С. 143.

[69] Еще один похожий пример: жительница Минска Оксана Новикова вывесила в окне своего дома в частном секторе плакат с надписью «Свободу политзаключенным!» Поскольку дом стоит на возвышенности, то плакат был хорошо виден не только соседям, но и покупателям местного магазина.

[70] Приведу пример из истории кино: когда в 1924 году в Советской России началась демонстрация американского фильма *Багдадский вор*, то возле кинотеатров творилось нечто невообразимое. Причиной тому стала агрессивная рекламная кампания, которую начали проводить примерно за месяц до премьеры. В течение двух недель в квартирах ежедневно раздавались телефонные звонки, и неизвестный голос произносил всего два слова: «Багдадский вор». Те же два слова вскоре появились на стенах зданий, на тротуарах оживленных улиц, в салонах трамваев и даже на оберточной бумаге, в которую продавцы заворачивали колбасу и другие продукты… (См.: Лебина Н. Б., Чистяков А. Н. *Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан*. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2003. С. 139.) Нечто похожее попытались осуществить организаторы акции «Достал!», используя для растяжек, граффити и наклеек самые разные поверхности.

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: особенности национальной пропаганды в предвыборный период

Александр Сарна

Я появляюсь в каждом выпуске новостей по четыре-пять раз в день. Разве это не демократично?
А. Г. Лукашенко – из выступлений на пресс-конференции по итогам выборов 2006 г.

Известный советский кинорежиссер Элем Климов на съемках фильма *Иди и смотри* (1985) настолько стремился к воссозданию атмосферы войны, что это грозило нарушением психического здоровья актеров, и особенно детей, которых приходилось вводить в состояние гипноза, чтобы не травмировать психику, заклеивать им рот, чтобы не плакали, и пр. Этот случай может служить моделью всей современной ситуации в Беларуси, где травматическая память о прошлом, постоянно реанимируемая для политических спекуляций, служит оправданием действий нынешнего режима власти, «затыкающего рот» оппонентам при молчаливой поддержке большинства населения, введенного в сомнамбулическое состояние государственными СМИ. Погруженная в транс массовая аудитория на бессознательном уровне воспринимает внушенные (т. е. привнесенные извне) утверждения как свои собственные и не может критически оценивать их, но только подчиняться и выполнять все, что требуется. В таких условиях никакой референдум не может быть признан легитимным, да и в самой постановке вопросов зачастую уже предусмотрен «правильный ответ». Ориентировка и «наведение на цель» (выгодный для власти вариант ответа) осуществляются в виде мотивационной установки, просчитываемой как результат агрессивного пропагандистского влияния на массовое сознание контролируемых государством СМИ, прежде всего телевидения и радио.

Именно таким образом режим поступил 18 марта: накануне выборов в программе «Панорама в субботу» на первом национальном телеканале с помощью вопроса интерактивного голосования: «Для кого выгодны обвинения в фальсификациях: 1) для международных организаций, которые хотят контролировать избирательный процесс; 2) кандидатов, которые опасаются остаться без поддержки народа; 3) действующей власти?» Это яркий образец вопроса, который с помощью встроенного в него комментария (на фоновом уровне, с помощью «фреймов», т. е. рамочных когнитивных конструкций) изначально наводит на нужный ответ, причем если «международные организации»

и «оппозиционные кандидаты» описаны негативно, то «действующая власть» подается предельно нейтрально, без комментария, что на фоне остальных вариантов выглядит как позитивная альтернатива.

Однако такой ход, ориентированный на немедленную ответную реакцию публики, используется на нашем телевидении достаточно редко. Зато постоянно применяются иные, не менее прямолинейные и гораздо более агрессивные, рассчитанные на «долгосрочный эффект» приемы обработки и корректировки общественного мнения в нужном направлении. Поэтому гораздо охотнее агитпроп эксплуатирует другое свойство телевидения как средства массовой коммуникации – его способность обращаться ко всем сразу и персонально к каждому, предоставляя нам те или иные сведения на личностном уровне с высокой степенью доверия и снижая критичность к восприятию информации с телеэкрана. «Иными словами, пропаганда отрицает дистанцию между источником пропаганды и аудиторией».[1] При этом используются различные, порой откровенно грубые, а иногда достаточно изощренные техники манипулирования общественным мнением. В данной работе предпринимается попытка выявить основные пропагандистские стратегии, осуществляемые на белорусском телевидении в предвыборный период накануне избрания президента РБ 19 марта 2006 года. Под пропагандой понимается такая форма социальной коммуникации, в рамках которой реализуется активное влияние на сознание реципиента с целью внушения определенной идеологической установки и убеждения/переубеждения в необходимости следовать этой установке (путем совершения какого-либо действия либо отказа от него). При этом могут выделяться два варианта пропагандистского воздействия: радикальный («жесткий») и лояльный («мягкий»), – которыми руководствуется сам агитатор. В случае «жесткой» пропаганды влияние осуществляется без учета и независимо от уже имеющихся у адресата ценностных предпочтений, а «мягкая» пытается подстраиваться и даже маскироваться под них, ненавязчиво демонстрируя преимущества своей точки зрения.

Прежде всего необходимо отметить, что национальное пролукашенковское телевидение, не считая нужным даже имитировать объективность и кичась собственной ангажированностью со стороны государства, последовательно придерживается принципов классической «жесткой» пропаганды, прямолинейной и откровенной. Само же государство одним из приоритетов внутренней и внешней политики считает последовательное развитие пропаганды в СМИ в качестве самого эффективного средства распространения и укрепления своей идеологии. «Если задаться целью описать суть государства, основанного на пропаганде, то это можно было бы обозначить следующим образом: она состоит в полном контроле над всеми доступными медиа, самой лучшей технике и самой всеохватной организации общества с помощью средств коммуникации».[2] В современной Беларуси используются те же принципы «хардкор»-влияния на массовое сознание, которые позволили геббельсовской пропагандистской машине буквально «изнасиловать» общественное мнение в нацистской Германии,

в зародыше уничтожив любую возможность не только сопротивления, но хотя бы инакомыслия. Это знаменитые «три кита» тотальной пропаганды: 1) выхолащивание любой информации до примитивной схемы, раскрашивающей мир в черно-белые тона, не терпящей никаких компромиссов и рассуждающей по принципу бинаризма «свой–чужой», «друг–враг», «добро–зло» и т. п.; 2) настойчивое повторение этой схематично представленной информации до тех пор, пока она не будет восприниматься как нечто естественное и само собой разумеющееся; 3) подача этой информации в сопровождении эмоционально окрашенных комментариев и оценочных суждений, постоянно скатывающихся к «наклеиванию ярлыков» всем оппонентам режима. Противоположностью этих принципов можно считать «основные стандарты качества информации», которые были сформулированы Д. Маккуэйлом: «1) СМИ должны полностью, без изъянов, обеспечивать общество текущими новостями; 2) информация должна быть объективной в смысле точности и надежности; 3) информация должна быть сбалансированной и беспристрастной, отражая альтернативные точки зрения без подачи их в сенсационной манере».[3]

Противопоставляя или даже сталкивая эти центральные принципы организации информационной политики в современных СМИ, мы можем более обстоятельно проанализировать методы агитации и пропаганды, применяемые белорусским телевидением, и выявить их, так сказать, «национальную специфику», т. е. наиболее характерные отличительные качества. Для начала же подробнее рассмотрим эффекты действия трех указанных принципов «жесткой» пропаганды, реализуемых на БТ, и покажем, на каком материале они применяются.

Первый из них, соответствующий логике схематизации массового сознания, предусматривает возможность создания специфической «примитивной» или «наивной» «картины мира», т. е. образа реальности в черно-белой гамме без цвета и полутонов, основанной на сугубо моральных (точнее, морализаторских) суждениях и оценках. Причем это морализаторство опирается не на универсальные принципы гуманизма и общечеловеческие ценности, а на утилитарные предпосылки, которые можно выразить в виде незатейливой формулы: «Все, что идет на пользу Беларуси, – хорошо, а все, что во вред, – плохо». Понятно, что такого рода утилитаристски трактуемая польза противоречит общим представлениям о нравственности и гуманности (например, доходы от продажи оружия или наркотрафика), но представителей государственной власти это ни в коей мере не беспокоит, поскольку «так делают все», а «мы сами знаем, что для нас лучше». Естественным следствием из таких предпосылок становится тотальное разделение всего окружения на «своих», или «друзей» (тех, кто разделяет нашу точку зрения), и «чужих», или «врагов», т. е. тех, кто ее не поддерживает. Интересно, что при изменении внешнеполитической или экономической ситуации могут меняться и наши собственные критерии оценки, и тогда приоритеты отношений с другими странами также изменяются, порой на прямо противопо-

ложные, когда «друзья» «неожиданно» совершают «предательство» и в одночасье становятся «врагами». Такова ситуация с прекращением поставок в Беларусь российского газа в феврале 2004 года, которая расценивалась со стороны россиян как необходимая реакция на невыполнение Беларусью договора о совместном акционировании предприятия «Белтрансгаз», а в ответ слышались упреки в нежелании считаться с потребностями «братьев-славян», которых Россия хочет «бросить на произвол судьбы» и «оставить на растерзание зимним морозам». То, что нежеланием «платить по счетам» мы ущемляем экономические интересы самих россиян, совершенно не принималось в расчет белорусской властью, которая привыкла во всем исходить только из собственной выгоды, не считаясь при этом с другими.

Второй принцип «тотальной пропаганды» — «серийное» воспроизводство сообщений в режиме настойчивого повторения — предусматривает донесение всех сведений в режиме новостного оповещения и бесконечных комментариев, в результате чего выстраивается устойчивая цепочка этапов последовательного насаждения информации в массовом сознании: от *упоминания* какой-либо новости или события к *убеждению* в том, что именно эта новость (а не какая-либо другая) заслуживает упоминания, а затем ее *представлению* и *закреплению* в произвольно выбранном ракурсе для выработки «единственно правильной» точки зрения.

Выпуски новостей на БТ перед выборами превратились в «отчетные доклады» со сводками «досрочно перевыполненных» показателей, со всей очевидностью подтверждающих правильность проводимой государством политики. Демонстрируется убедительный экономический рост, повышение благосостояния населения, увеличение уровня доходов, объемов внешнего валового продукта и всего чего угодно — но сами происходящие события остаются в стороне. Фактически новости становятся подведением итогов «президентской пятилетки», а не освещением событий. В результате такого информационного давления даже скептически настроенный обыватель сперва отторгает представленное сообщение, потом смиряется с ним как с неизбежным, затем воспринимает как «естественную необходимость», после чего остается лишь шаг до принятия его как истины «в последней инстанции». «В то же время повторение возводит обязательный барьер против всякого иного утверждения, всякого противоположного убеждения с помощью возврата без рассуждений тех же слов, образов и позиций. Повторение придает им осязаемость и очевидность, которые заставляют принять их целиком, с первого до последнего, как если бы речь шла о логике, в терминах которой то, что должно быть доказано, уже случилось».[4]

Для обеспечения информационно-агитационного производства по этой модели и достижения необходимого эффекта белорусский агитпроп выстраивает другую цепочку обработки и донесения уже тщательно «упакованной» информации до нашего сознания. Это последовательно выстроенная жанровая иерархия телевизионных программ, где сначала идут новостные выпуски («Новости» по БТ-1 и «Ладу»,

«Наши новости» по ОНТ, «24 часа» по СТВ), затем – подведение итогов дня («Панорама» и «Комментарий дня» по БТ-1, «Особое мнение» по ОНТ), далее следуют еженедельные обзоры (у нас это скорее «обжоры») новостей («“Панорама” в субботу» и «В центре внимания» по БТ-1, «Контуры» по ОНТ, «168 часов» по СТВ), информационно-«аналитические» программы («Права человека. Взгляд в мир», «Политические технологии» и «Общественная безопасность» по БТ-1, «Эксперт» по РТР, перекрываемому Беларусью) и даже ток-шоу («Выбор» по ОНТ, «Личный интерес» по СТВ).

Особый интерес в этом перечне вызывают программы, симулирующие аналитическую работу на нашем телевидении, но на деле занимающиеся неприкрытой пропагандой в угоду действующему режиму. До недавнего времени на производстве такой продукции специализировался лишь первый национальный телеканал, не лимитированный эфирным временем, но по мере приближения выборов на экранах замелькали новые проекты, захватывающие время трансляции и российских телеканалов. Так, с 21 февраля за счет времени канала РТР по вторникам, средам и четвергам начинает выходить «Политика» с Ю. Козиятко (после выборов ограниченная лишь субботой), ОНТ с 25 февраля запускает в эфир по субботам «Большую политику» с В. Елфимовым (посредством «экономии» времени ОРТ), а БТ-1 решил добавить к уже имеющемуся объему «политпросвещения» «Жесткий разговор» А. Зимовского, идущий с 12 января по четвергам. Если учесть, что «Политика» и «Жесткий разговор» еще и повторялись утром следующего дня, становится ясно, что общий объем пропагандистски ориентированной «аналитики» в белорусском телеэфире вырос перед выборами почти в три раза!

Отдельная тема – документально-публицистические телефильмы, созданные в формате самых настоящих сериалов и претендующие на привнесение элементов «мыльной оперы» в белорусскую историю и политику. Эту практику инициировал канал БТ-1, предоставив одиозному Юрию Азаренку особые полномочия для создания «телешедевров» (таких как, например, *Конспирология*), а к выборам-2006 – пяти серий скандальной *Духовной войны*, намеками на сходство Лукашенко с Христом в их мессианской роли в истории скорее дискредитировавшей действующую власть, нежели агитировавшей за нее. Усилиями А. Проханова, поп-мифолога современной России, в пятой серии под названием «Сакральность власти» воссоздается архаическая модель власти, основанной на мифологизации фигуры вождя как посланца «высших сил» и «тонких энергий», полностью органичного «человека от сохи», улавливающего эти энергии с помощью преданного ему народа и направляющего их в «нужное русло» (ср. с германской моделью национал-социализма на основе единства фюрера и народа, способных посредством партии услышать зов «крови и почвы» и выйти на высший уровень власти). В итоге фильм был неоднозначно воспринят даже руководством, решившим воздержаться от демонстрации пятой серии в намеченный срок (4 и 5 марта) и выпустившим ее

в эфир лишь спустя две недели после выборов, а на телеканале «Лад», где также демонстрировался этот сериал, она так и не появилась.

ОНТ начинало свою пропагандистскую деятельность с создания «идеологии в клипах» в формате музыкальных фильмов, где «звезды» современной белорусской поп-музыки перепевали «старые песни о главном» в соответствии с нашими духовными приоритетами (не о любви, как в России, а о войне): к 9 мая 2004 г. демонстрировались «Дороги и песни далекой войны», к 3 июля 2004 г. – «Беларусь. 60 мирных лет», к 9мая 2005 г. – «Маленькие концерты большой войны». Создание же пропагандистских сериалов на ОНТ приурочили к другим торжественным (или не очень) датам, тем самым выступая в роли «пропагандистского спонсора»: к десятилетию правления Лукашенко в 2004 г. были выпущены 12 серий *Новейшей истории Беларуси* (с приходом Ю. Козиятко на РТР повторенные уже перед нынешними выборами), в 2005 г. к шестидесятилетию победы в Великой отечественной войне создавалась 10-серийная *История Победы*, к годовщине вступления в Евросоюз новых стран-участниц на телеэкран вышли 10 серий *Разъединенных штатов Европы*, а уже к выборам 2006 г. появились 15 серий фильма *Пятнадцать* о «нелегкой судьбе» бывших советских республик (плюс 4-серийный ярко выраженный «антиамериканский» фильм *Америка без грима*, показанный с 13 по 17 марта, т. е. буквально накануне выборов). Если к этому добавить еще и организованные по всей республике в рамках агитационного тура «За Беларусь!» музыкальные концерты, транслировавшиеся на БТ-1 и ОНТ в «прайм-тайм» воскресного эфира (с последующим повтором), а также «фирменные» спецвыпуски на тему выборов таких (обычно аполитичных) программ, как «Минск и минчане» на СТВ, «Деркач» по БТ-1 и др., становится очевидным, что в предвыборный период для усиления агитационного давления на массовую аудиторию и эффективной «промывки мозгов» были задействованы не только информационные, но и развлекательно-познавательные ресурсы белорусского телевидения, что привело к вовлечению в этот процесс множества телепрограмм и фактическому стиранию жанровых границ: все программы в одночасье превратились в агитационно-пропагандистскую продукцию, призывая отдать наши голоса «За Беларусь!» для сохранения существующей системы власти.

Что касается третьего принципа «жесткой» пропаганды (экспрессивно-оценочной классификации оппонентов правящего режима), то именно документально-публицистические сериалы тяготеют к этому приему в силу структурной организации представленного в них материала, требующего яркой, образной номинации для каждой серии фильма. Помимо этого, колоритные примеры «наклеивания ярлыков» представлены в ряде аналитических и публицистических программ – «Международная панорама», «Права человека. Взгляд в мир», «Большая политика», но наиболее яркие образцы жанра мы обнаруживаем в цикле «Беларусь. Взгляд извне», демонстрировавшемся в феврале–марте 2006 г. по «Ладу» и первому национальному телеканалу. Данный публицистический сериал объемом в девять по-

лучасовых серий представляет собой «нарезку» цитат различных авторитетных (с точки зрения официальных структур) общественных и политических деятелей, политиков, ученых ближнего и дальнего зарубежья. Нередко цитаты идут вразнобой, а иногда настолько вырваны из контекста, что вообще трудно понять, о чем идет речь, но всегда составляют подборку только позитивных, зачастую откровенно хвалебных отзывов в адрес Беларуси и критических – в адрес США, Европы, стран Запада в целом. Для закрепления и устойчивой фиксации этой «установки на критику» в конце каждой серии анонсировалась следующая, и любой такой анонс подавался в виде броских «ярлыков» в духе «информационных бомб», сенсационных газетных заголовков, пафосно зачитываемых напряженным женским голосом. Это были т. н. «саундбайты» (sound bite), т. е. «куски записи» (в буквальной трактовке), или «сильные высказывания», представляющие собой «короткий аудиофрагмент, который вставлен в видеорепортаж, показываемый в теленовостях».[5]

Например, анонс пятого фильма из цикла под общим названием *Инвесторы хаоса глазами континента* содержал заголовки, выступающие в качестве пропагандистских слоганов или идеологических маркеров: «Новый порядок идет на Восток. "Крестовые набеги" под знаменами демократии и "общечеловеческие ценности", разрушающие города и страны»; «Тотализатор на нищете постсоветского пространства»; «Страны, которые "заигрались" в американскую демократию, и главный инвестор, который уже окупил свои вложения»; «Время, когда из осколков ровной и гладкой советской системы сложен мавзолей национальных интересов» и т. д. При этом ирония кавычек в самом фильме отображается только посредством интонации, поскольку данные высказывания в виде письменного текста не приводятся и прочитать их нет никакой возможности. В результате мы сталкиваемся с парадоксальными смысловыми конструкциями, в которых содержание напрямую отождествляется с объектом репрезентации, что свидетельствует о стремлении к максимальному воплощению в такого рода слоганах всей «полноты реальности». Как сказал бы Р. Барт, «такое явление можно назвать *референциальной иллюзией*. Истина этой иллюзии в том, что "реальность", будучи изгнана из реалистического высказывания как денотативное означаемое, входит в него уже как означаемое коннотативное; стоит только признать, что известного рода детали непосредственно отсылают к реальности, как они тут же неявным образом начинают означивать ее»[6]. Слоган, превращаемый в «ярлык», которым оперируют пропагандисты на БТ, при закреплении за определенным объектом номинации призван «ухватить» даже не саму реальность, но ее суть, порой невидимую или недостаточно очевидную для «непосвященных», но совершенно явную для самих агитаторов, стремящихся распутать этот клубок, сотканный из нитей «мирового заговора» против Беларуси. Именно этой «сверхценной» задаче посвящена большая часть пропагандистской продукции, появляющейся на наших телеэкранах, и ее влияние распространяется на любые виды и жанры телевизионных программ.

Особенность этого влияния не в «соблюдении “законов жанра” или даже в их видимости, а в стремлении нарушить трехчленную природу знака, сделать так, чтобы предмет встречался со своим выражением без посредников»[7]. Это позволило бы прорваться сквозь пелену условностей и видимостей к «самой сущности» реальности, показать всем, что она собой представляет «на самом деле» — и создать тем самым новую видимость, подтверждая незыблемую власть порядка симулякров.

Невозможность решения этой задачи и реализации утопического проекта «абсолютно прозрачной» референции заставляет создателей белорусского агитпропа решительно отказаться от него и броситься в другую крайность, стремясь уже не к полному отождествлению с реальностью, но к радикальному отказу от нее. Это стремление проявляется как различие или «разрыв» между видимым и слышимым, изображением и словом, визуальным и вербальным планами сообщения. Как нам представляется, такого рода «разрыв» вполне соотносится с различием между областями *сознания* и *бессознательного* и может трактоваться с психоаналитических позиций как некоторая «травма», требующая устранения и компенсации. Ее «культивация» в качестве «разрыва» между вербальным и визуальным измерениями производится принудительно и оформляется как определенная политическая стратегия «отказа от референции» и «перехода к конвенции». Она осуществляется с помощью нескольких процедур, первую из которых иллюстрирует ситуация 7 марта, когда в блоке новостей ОНТ в 13.00 прошел сюжет по поводу принятия постановления Центризбиркома о порядке предоставления кандидатам в президенты РБ возможности выступления на государственных теле- и радиоканалах. Ведущая К. Вардомская сообщает: «Во время агитационной кампании каждый кандидат получит возможность дважды по тридцать минут выступить в эфире радио и на первом национальном телеканале», — а в это время на экране показывают дорожный знак «Стоп» («Проезд запрещен») на фоне телевышки ОНТ, что можно трактовать как предупреждение «Доступ запрещен!» В данном случае экранная «картинка» выступает в качестве своеобразной «монтажной оговорки» на уровне «визуального бессознательного», выдавая намерение власти запретить любую попытку оппозиции проникнуть в государственные СМИ. Подобного рода послание, содержащее внутри себя радикальное противоречие и приводящее к полному «разрыву» между текстом и образом, трактуется как попытка *вытеснения* смыслового содержания, высказанного в вербальном сообщении, и его *замещения* на прямо противоположное с помощью визуального ряда, сопровождающего озвученный текст.

Еще одну процедуру иллюстрирует репортаж Светланы Вячорки с 40-го выборного участка Брестской погранзоны, вошедший в блок новостей телеканала БТ-1 14 марта, в первый день досрочного голосования. В репортаже говорилось о пограничниках, которые заступают в наряд именно в день выборов 19 марта и поэтому им нужно проголосовать досрочно. При этом подчеркивалось, что таких бойцов достаточно мало, хотя тут же бралось интервью у целого от-

ряда солдат, готовящихся к отправке на обслуживание призывного пункта, у которых также была вероятность в нужный момент не оказаться на месте, поскольку они «будут еще в пути», и им, конечно же, нужно проголосовать досрочно. Затем шел кадр с целой ротой солдат, дружно марширующих по направлению к избирательному участку. Этот репортаж предваряло сообщение о том, что «для многих людей в военной форме досрочное голосование — это единственный шанс использовать свое конституционное право», что в наших условиях вполне применимо едва ли не ко всем рядовым срочной службы, которых в обязательном порядке «добровольно-принудительно» отправляли голосовать досрочно. И хотя дальше следовал уже упомянутый репортаж, где всячески преуменьшалось число «досрочников», «многие люди», о которых говорилось вначале, автоматически переносились на сам репортаж, и их количество подтверждалось видеосъемками. Эту процедуру можно обозначить как *перенос* содержания исходного тезиса на последующие утверждения и его *проекция* на высказываемые затем суждения, сделанные вопреки представленным в качестве иллюстрации визуальным материалам.

Наконец, третий пример процедуры осуществления стратегии «разрыва» между вербальным и визуальным планами сообщений в рамках пропагандистского дискурса — сюжет также из новостей по БТ-1, показанных 13 марта. «США и Европа усиливают давление» — под таким лозунгом в вечернем выпуске новостей подается информация о том, что оппозиция отрабатывает полученные гранты «вяло и схематично», и особого влияния на всех нас не имеет. В чем же тогда проявляется «давление»? Оказывается (следует из следующего утверждения), что «Вашингтон требует влияния на Минск» — при этом упорно демонстрируются виды центрального района Вильнюса. И снова возникает вопрос: при чем тут Вильнюс, если речь идет о Вашингтоне? Видимо, у агентства телевизионных новостей первого национального телеканала нет своего корреспондента в Вашингтоне, чтобы он смог отснять необходимую натуру и переправить ее в Минск. Однако в таких случаях наши журналисты охотно используют архивные материалы, причем зачастую «позаимствованные» из репортажей других телеканалов. Но на этот раз и такая возможность не была задействована: возможно, в архиве ничего не оказалось или информация пришла слишком поздно, и уже не было времени на поиск подходящих в качестве оформления «картинок». В итоге получилось то, что получилось: Вильнюс оказался заместителем Вашингтона, выступая в качестве *символа* уже не только Европы, но и США, т. е. фактически олицетворяя собой весь западный мир. Образ Вильнюса стал своеобразной *риторической фигурой* (метонимией) уже не только Литвы (путем соотнесения части и целого), но и Запада как такового.

Таким образом, указанные процедуры *вытеснения/замещения*, *переноса/проекции* и *символизации/фигурации* выступают в качестве этапов осуществления политической стратегии «культивации разрыва» между изображением и словом в структуре сообщения, произ-

водимого в рамках пропагандистского дискурса на белорусском телевидении. Как следствие, это приводит к устранению *рефеференциальной* связи и переходу к *конвенциальной* связи между произносимым текстом и призванным его иллюстрировать визуальным материалом. Своего предела эта тенденция достигает в документально-публицистических сериалах ОНТ и БТ-1. Главной пропагандистской особенностью этих фильмов является тотальное доминирование вербального текста, который отказывается от функций комментария к «телекартинке» и начинает диктовать свои условия изображению, выполняющему второстепенную роль «иллюстрации к тексту». Именно в текстах содержится основная «идеологическая матрица» пропагандистского «послания» к публике, и именно тексты (прекрасно обходящиеся без изображения) к фильмам, а не сами фильмы, воспроизводятся на сайте ОНТ.

Кроме того, можно выделить некоторые специфические приемы «конструирования» изображений с целью создания требуемого визуального образа и его дальнейшего использования белорусским телевидением в качестве такого рода пропагандистского message. С помощью этих приемов происходит «рекрутизация» и мобилизация населения для его вовлечения в политическую борьбу, поскольку в своей работе государственная агитационная машина прежде всего «исходит из иезуитской практики образа как аргумента»[8]. Обозначим эти приемы как стратегии *визуальной репрезентации* в телепропаганде и выделим следующие, наиболее значимые.

Инсценировка, предполагающая своеобразную «реконструкцию» ситуации, о которой идет речь, имитацию посредством сценической постановки, разыгрываемой силами специально приглашенных актеров. Именно за счет привлечения человеческого ресурса, а не технических спецэффектов, в данном случае осуществляется воссоздание (или даже создание вымышленной, т. е. специально придуманной для этого случая) ситуации, которая служит своеобразным «фоном» для всей телепрограммы в целом. В основном такой прием используется в телерекламе и документально-публицистических сериалах, но встречается и в «специальных репортажах». Так, 17 февраля после «Панорамы» на телеканале БТ-1 показывали репортаж «Польский ГОСТ», где дискредитация польских представителей в РБ осуществлялась с помощью явной инсценировки с пьяным человеком, в роли которого выступал, естественно, не польский консул, а совсем другая персона. Для этой стратегии характерна *отсылка к ситуации (реальности)*.

Визуализация как предъявление общей «картинки» при оценке и анализе сложившейся ситуации, «экранизация» со ссылкой на архив для подтверждения различных высказываний и убеждения аудитории. Сопровождающие комментарии могут косвенно соотноситься с изображением, выступая в качестве «вольной вариации на заданную тему», как это и происходит в программах «Права человека. Взгляд в мир», «Международная панорама», «Беларусь. Взгляд извне», «Большая политика» и, особенно – в сериалах Юрия Азаренка, целиком построенных как «монтажный экспромт», прекрасно обходя-

щийся без съемок «с натуры». При этом используются архивные материалы (письменные документы, видеозаписи, фотографии, эпизоды из прошлых репортажей и пр.), выступающие в основном в качестве иллюстрации к декларируемым утверждениям. Визуальный образ здесь нужен лишь для большей убедительности предъявляемых тезисов и усиления эффекта их правдоподобия, ради чего и используется *отсылка к традиции (архиву)*.

Символизация на уровне создания целиком «виртуального образа», никак не пересекающегося с внетекстовой реальностью и предполагающего использование только технологических спецэффектов (как правило, компьютерной анимации). Такой образ ориентирован на значительную степень генерализации, обобщения, близкую к символу или метафоре, способную выразить сущность предлагаемого аудитории «послания». Поэтому принцип символизации практически постоянно используется при создании образов в заставках различных телепрограмм и сериалов (число «15», возникающее в результате трансформации серпа и молота в *Пятнадцати*, осыпающаяся штукатурка с изображением карты США, обнажающая серую неприглядную стену в *Америке без грима* и пр.). Также можно отметить использование анимации в «Особом мнении» в качестве средства «принижения», иронического осмеяния усилий оппозиции и ее дискредитации в глазах публики. В итоге же на данном уровне с помощью символа происходит непосредственно *отсылка к идее (ценности)*.

Если же говорить об общих тенденциях, то, пожалуй, именно инсценировка и постановка (разыгрываемая по определенному сценарию ситуация как «имитация» реальности, заменяющая и вытесняющая саму реальность) постепенно становятся своеобразным «фирменным знаком», основным пропагандистским приемом белорусского телевидения и активно используются чуть ли не во всех жанрах ТВ-пропаганды: специальном репортаже, претендующем на статус «журналистского расследования» («Польский ГОСТ»); документально-публицистическом сериале (*Беларусь. История Победы* и *Пятнадцать*); предвыборных рекламных роликах, выходивших с конца февраля и предлагавших набор «картинок с выставки» для создания «бытовой мифологии» в рамках различных сюжетов, объединенных общей «легендой» о безусловном преимуществе белорусского «образа жизни» («процветание и стабильность» в РБ гарантируют успешность граждан в самых разных сферах деятельности, таких как сельское хозяйство, промышленное производство, наука, образование, медицина, бизнес и пр.) При этом игровые эпизоды могут не включаться в структуру самого сюжета и сниматься отдельно (как это происходит в сериалах), специально сформированной киногруппой со своим штатом работников, актеров-исполнителей, ассистентов и пр.

Специфической особенностью белорусской пропаганды на телевидении в предвыборный период также стала *анонимность*, т. е. принципиальное нежелание называть имя кандидатов в президенты РБ. Никто не призывал голосовать за какого-либо кандидата, в силу того что представители альтернативных претендентов на этот пост

к экрану просто-напросто не подпускались, а лоббисты государственных интересов агитировали «за Беларусь», а не за Лукашенко. В итоге, эксплицитно предъявляемое пространство политических манифестаций и гражданских мнений оказалось пустым, незанятым, в нем не фигурировало ни одного имени: оппозиционеров не упоминали во избежание невольной рекламы, а о Лукашенко не говорили ввиду нарочитой «скромности» президента (хотя его постоянно рекламировали в новостях косвенным образом, работая на его имидж человека, осуществляющего свою программу «не словами, а делами»). Поэтому перед выборами откровенно пропагандировался в основном лишь «наш образ жизни», жизненный уклад белорусов в тех социальных параметрах, которые уже давно отождествляются с «белорусским стилем правления» и предполагают канализацию (как в прямом, так и переносном смысле) гражданской активности в узкое русло частных интересов: дом, семья, работа, развлечения и т. д. Одним словом, «за» – здоровый образ жизни, «против» – «нездорового интереса» к политике, которая остается целиком в сфере приоритетов государства.

Активно используются на БТ и приемы *манипулирования* общественным мнением, причем целый арсенал этих средств применяется для обработки и преподнесения информации в том виде, в каком это выгодно власти. Как отмечает А. Цуладзе, «интерпретация фактов открывает для СМИ массу возможностей для манипулирования. Информацию можно:

– *сфабриковать*, выдавая ее за подлинную;

– *исказить* путем неполной, односторонней подачи;

– *отредактировать*, добавив различные домыслы;

– *проинтерпретировать* факты в выгодном для манипулятора свете;

– *утаить* важную информацию, какие-либо существенные детали;

– проявить *избирательное внимание* к фактам в соответствии со своей позицией;

– сопроводить материал *заголовком*, не соответствующим содержанию;

– *приписать* кому-либо заявления, которые он никогда не делал;

– *затянуть время*, опубликовав правдивую информацию, когда она потеряла актуальность;

– использовать прием *неточного цитирования*, приводя часть фразы или выступления, которая в отрыве от контекста приобретает другой, подчас противоположный смысл;

– *смешать* истинные факты с домыслами, слухами, гипотезами;

– создать *информационную перегрузку*, когда в куче информационного «мусора» теряются основные сообщения и внимание аудитории уводится в сторону и т. д.»[9].

Фактически все из приведенных приемов манипулирования активно практиковались (и практикуются по сей день) на каналах белорусского телевидения. Так, например, *фабрикация* информации осуществлялась

государственными силовыми структурами в виде «теории заговора» как обоснования попытки насильственного свержения оппозицией государственного строя РБ во главе с действующим президентом. Особенно шумно преподносились сведения (даже рассылались SMS для абонентов VELCOM) о якобы готовящихся в день выборов взрывах на Октябрьской площади, что предлагалось рассматривать как предлог для переворота. 1 марта об этом было заявлено на пресс-конференции КГБ РБ в связи с арестом представителей неправительственной организации «Партнерство», которая якобы и готовилась совершить этот переворот, о чем свидетельствовали изъятые в большом количестве денежные купюры и мобильные телефоны, если верить телевизионному сюжету (только вот взрывные устройства почему-то не показали), демонстрировавшемуся в этот день по всем белорусским каналам во всех выпусках новостей. А 13 марта в вечерней «Панораме» (21.00 по БТ-1) сообщалось о срыве очередной «провокации» уже со стороны Грузии, которая якобы хотела направить на выборы своих боевиков под видом наблюдателей – при этом назывались имена ведущих политиков страны.

На *искажение* информации целенаправленно ориентировались документально-публицистические сериалы БТ-1 и ОНТ: *Беларусь. Взгляд извне*, *Разъединенные штаты Европы* и *Пятнадцать*. Применительно к ближнему и дальнему зарубежью выискиваются только отрицательные факты, которые подаются как общая негативная тенденция (вроде вывода, что «здоровое дитя за один месяц не смогут выносить даже девять беременных женщин», применительно к Евросоюзу), при этом положительные сдвиги в жизни новых членов ЕС или бывших республик СССР не упоминаются, как будто их вовсе не существует, и только у нас в Беларуси все замечательно «стабильно».

Интерпретация фактов по своему усмотрению и весьма вольное с ними обращение отчетливо прослеживались 22 февраля в сообщениях о публикациях скандальных карикатур на пророка Мухаммеда в газете «Згода». Эта информация сопровождалась личными «пророчествами» аналитиков и комментаторов (таких, как автор и ведущий программы «Политика» на «белорусском» РТР Ю. Козиятко и его гость Леонид Гуляко, председатель комитета по делам религий и национальностей при Совете министров) по поводу стремлении оппозиции спровоцировать раскол в обществе, вызвать межконфессиональные противоречия и религиозные конфликты, чтобы «вывести людей на улицы».

Стремление *отредактировать* информацию, добавив собственные предположения и домыслы, присуще подавляющему большинству белорусских медиа (причем как государственных, так и не отягощенных бременем госконтроля), и материала здесь также предостаточно. Поэтому сошлюсь лишь на случай с Галиной Волчек, описанный в российской газете *Коммерсантъ* и воспроизведенный на сайте *Хартии-97*[10]. Абсолютно нейтральное высказывание известного режиссера и актрисы о Минске как «чистом городе» было представлено в спецвыпуске программы «Минск и минчане» 17 марта на канале СТВ в монтажной обработке и использовано без согласия автора в качестве без-

условного свидетельства в пользу Лукашенко и действующей власти. Подобного рода «монтажный терроризм» вкупе с приемом неточного цитирования все чаще становится излюбленным методом представления информации в большинстве белорусских телепрограмм.

Утаивание какой-либо важной информации также не является особой проблемой для республиканских телеканалов, особенно если речь идет о событиях или происшествиях, неугодных власти или представляющих ее в невыгодном свете. Так, ни на одном государственном телеканале не прозвучало ни одного сообщения о закрытии Европейского гуманитарного университета в августе 2004 г.; ни разу не упоминался проходящий 1 и 2 октября 2005 г. Конгресс демократических сил, на котором в качестве единого кандидата от оппозиции на пост президента был избран А. Милинкевич, и т. д. Непосредственно же в период предвыборной борьбы телевидение неукоснительно придерживалось тактики «умалчивания» в отношении оппозиционных кандидатов, на имена которых словно накладывалось табу. Запрещалось любое упоминание, даже в посвященных им спецрепортажах, даже в негативном виде, чтобы хулой не создавать (анти)рекламу конкурентам нынешнего режима. (Вспомним хотя бы репортаж все той же программы «Политика» о «скандальных действиях» А. Козулина, когда он пытался прорваться в Национальный пресс-центр на запланированную в день официальной регистрации кандидатов в президенты конференцию для журналистов.)

Избирательное внимание к каким-либо фактам, безусловно, обосновано живым интересом к персоне президента и всему, что так или иначе с ним связано. В итоге, белорусские новости постоянно ангажированы для преподнесения информации о поездках президента по стране, что порой в подобострастном угаре приводит к абсурду. Так, 10 марта, в день, когда в Турине происходит открытие зимних Олимпийских игр, белорусская сборная по теннису одерживает убедительную победу в двух поединках со сборной Испании в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса, а в одном из центральных районов Минска случается крупный пожар, во время которого почти полностью сгорела мебельная фабрика, в итоговом выпуске вечерних «Наших новостей» А. Аверков, вкратце упомянув о победе белорусских теннисистов, торжественно объявляет: «А теперь – о главном событии дня»... И далее идет репортаж о визите президента в Могилевскую область, в ходе которого он посетил стеклозавод «Елизово», специализирующийся на производстве стеклотары... Тем самым в день, когда случилось главное событие четырехлетия (открытие зимней Олимпиады), главное достижение белорусских спортсменов этой зимой и даже чрезвычайное происшествие в центре города, бутылки и банки на экране сумели затмить все эти неординарные события! И лишь потому, что там оказался президент! Именно это нужно, по мнению руководства и журналистов ОНТ, считать Главным Событием Дня, а все остальное – шумная «чрезвычайщина», пустое нагнетание страстей, что не отвечает задачам белорусского телевидения. Главным может

быть только то, что связано с властью, — таков непреложный закон ТВ-пропаганды, и он свято соблюдается в современной Беларуси.

Что касается *заголовка* или *названия*, не соответствующего содержанию, то здесь можно вспомнить название не только отдельного материала, но целой псевдоаналитической программы «Особое мнение». Это типичный оксюморон: ничего особого в этом мнении нет, и вся его «особенность» выражается в поддержке официальной точки зрения, взгляда на те или иные события со стороны власти. Также представляют особый интерес анонсы будущих серий из цикла *Беларусь. Взгляд извне*, поданные в демонстративно (а зачастую и провокативно) вызывающей манере.

Приписывание каких-либо действий или заявлений человеку, никогда их не делавшему, также является хорошо отработанным способом дискредитации. В этом плане показателен случай с А. Лебедько, о котором в фильме *Теория заговора. Управляемый хаос*, прошедшем 20 февраля по каналу БТ-1, говорилось, что он «хочет попробовать вывести на улицу обезумевшую толпу», а также заявлялось о том, что оппозиция «не остановится перед тысячами жертв». В результате Лебедько подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поскольку расценил эти заявления как «клеветнические» и «не соответствующие действительности», однако это ни к чему не привело, ведь именно позиция БТ считается у нас официальной точкой зрения, спорить с которой в создавшейся ситуации бесполезно.

Затягивание времени для обнародования правдивой информации и выдача ее в эфир, когда она не актуальна, осуществлялись непосредственно в процессе предвыборной кампании. В частности, от общественности всячески скрывалась информация о переговорах по поводу повышения цен на газ со стороны «Газпрома», поскольку это могло лишить Лукашенко едва ли не главного козыря (экономическая и сырьевая поддержка России) в борьбе за президентский пост. И только когда выборы уже состоялись, и Александр Григорьевич был благополучно переизбран на третий срок, выяснилось, что все это время «Газпром» настаивал на своих условиях по решению «газовой проблемы».

Приемом *неточного цитирования* злоупотребляли редакторы цикла *Беларусь. Взгляд извне*, в претензии на «объективность и непредвзятость» расписывающих прелести белорусской жизни «чужими устами», со слов зарубежных сторонников режима Лукашенко. Здесь порой можно встретить совершенно неожиданные высказывания вроде «откровений» народного депутата Украины Леонида Грача: «Я не думаю, что Лукашенко так уж было сладко, ведь его путь — это путь к терниям через шипы» (3-я серия) или Геннадия Зюганова, лидера коммунистов России: «У вас нет не только бездомных детей, но и почти нет бездомных собак!» (1-я серия) и т. п.

На *смешении* истинных фактов с домыслами и слухами специализируется в своих документально-публицистических сериалах Юрий Азаренок, объявивший «духовную войну» всему западному образу жизни. В рамках своего псевдорелигиозного сериала он умудрился

раскрыть шокирующие «страшные тайны» о мировом заговоре против Беларуси и лично президента Лукашенко, причем в этом сговоре в качестве представителей «сатанинской империи» США фигурируют не только все видные политики во главе с Джорджем Бушем-мл., но и, например, Уолт Дисней как «масон высшей стадии посвящения».

В итоге использование данных манипулятивных технологий позволяет белорусскому телевидению выступать в качестве инструмента, с помощью которого государство реализует общие пропагандистские стратегии, среди которых можно выделить: поиск внешних врагов и дискредитацию чужих достижений («Политические технологии», «Права человека. Взгляд в мир»); подчеркивание только негативных тенденций в развитии стран-соседей (*Разъединенные штаты Европы*, *Пятнадцать*); перенос достижений СССР на проекты современного режима, продолжающего «славные традиции прошлого» в попытке присвоить символический капитал (*История Победы*, *Пятнадцать*); «принуждение к высказыванию» (призывы «За Беларусь» на агитационных концертах, опросы граждан на улицах); переключение внимания и уход от предмета спора при столкновении с критическим замечанием («Жесткий разговор», «Выбор», «Политика»); неоправданная генерализация (обобщение), приводящая к гиперболизации негативных тенденций у политических оппонентов («В центре внимания», «Права человека. Взгляд в мир», «Большая политика»); перехват инициативы и переписывание лозунгов оппозиции под интересы власти («Жесткий разговор», «Политика», «Права человека. Взгляд в мир», «Большая политика») и т. д.

Здесь следует напомнить, что применительно к указанным пропагандистским стратегиям речь идет не об отдельных случайных проявлениях «отклонений от нормы», но именно о самой «норме» — устойчивой тенденции, предъявляемой во всем спектре возможностей и вариантов в указанных телепрограммах (прежде всего информационно-«аналитических»). Не только отдельные высказывания, но целые программы и даже циклы телепередач посвящены выполнению только одной стратегической задачи — например, дискредитации оппонентов или поиска негативных черт в западном образе жизни. Традиционная тема, не сходящая со страниц государственной прессы и экранов телевизоров без привязки к предвыборному периоду, — это «поливание грязью» либерально ориентированной оппозиции и их, как любят подчеркивать на БТ, «зарубежных спонсоров», прежде всего США. Предвыборный период отличается лишь особой избирательностью редакторских предпочтений, когда целые блоки программ формируются в духе «контроппозиционной» и «антиамериканской» пропаганды, в результате чего в течение нескольких дней, а то и недель по одному или даже нескольким телеканалам настойчиво «продвигаются» «хэдлайн»-материалы на заданную тему. Так, на первом национальном телеканале непосредственно перед выборами сложился отчетливо выраженный «антиамериканский блок»: подбирались документальные фильмы с ярко выраженной антиамериканской направленностью и демонстрировались каждую неделю в вечернее время (23.00) для

создания негативного имиджа США и нейтрализации «агрессивного информационного влияния» на Беларусь: 4 марта – *Двойная порция*, 11 марта – *Жнецы* (1-я серия), 11 марта – *Боулинг для Колумбины*, 15 марта – *Дипмиссия невыполнима*, 18 марта – *Жнецы* (2-я серия), 18 марта – *Фаренгейт 9/11*. К этому «фирменному набору» БТ необходимо добавить документальный сериал *Америка без грима* по ОНТ с 13 по 16 марта (4 серии), в котором так или иначе подвергаются критике как формы государственного управления и институты демократии, так и сам образ жизни американцев.

Каковы же основные стратегические цели белорусской телепропаганды? Во-первых, это *создание позитивного образа власти* (и прежде всего – президента РБ) как «гаранта» светлого будущего Беларуси, что также подразумевает параллельное «опускание» оппозиции в тотальный негативизм ее описания. Этой цели соответствует *односторонняя* (направленная от агитатора к аудитории и не предполагающая обратной связи) форма коммуникации в качестве технологической составляющей пропаганды. Во-вторых, это *с(т)имуляция общественного мнения*, «точка зрения» которого может и не репрезентировать ортодоксальную и незыблемо-трансцендентную «волю народа» (не существующую как автономная единица общественной жизни в силу того, что на ее выражение всегда претендует сама власть), но непременно должно совпадать с официальной позицией и при этом – оправдывать ее, легитимировать (как это и делается с помощью опросов, проводимых в программах «Выбор» и «“Панорама” в субботу») в соответствии с представлением об *интерактивной* основе технологии пропаганды. И в-третьих, еще одна приоритетная цель – *вовлечение аудитории в действие* путем проведения массовых акций и общественных мероприятий (как в случае концертов поп-музыки от ОНТ в рамках тура «За Беларусь!» или празднования Дня независимости на Октябрьской площади 3 июля 2005 г.), требующих непосредственного участия телезрителей, но уже в другом статусе – не просто зрителей, но участников шоу, актеров в политическом спектакле, чья активность потребления развлечений в процессе медиализации преподносится как гражданская активность. Здесь действует *перформативная* составляющая пропаганды, актуализируемая телевидением, которое выступает уже в роли продюсера и промоутера, а не просто источника информации. Тем самым наше ТВ, по сути, отказывается от информационных функций, а развлекательные ставит на службу пропагандистским, за счет чего утрачивает нейтральный статус в освещении событий и откровенно становится «рупором власти». Более того, белорусское телевидение уже не желает просто *рассказывать* о происходящих событиях – оно начинает само *создавать* события (по заказу государства), формируя общественное «мнение» как «настроение», которое всегда должно быть демонстративно-оптимистичным.

Таким образом, создание информационного повода (при проведении концертов под открытым небом, организации шоу-программ и массовых мероприятий) становится приоритетным направлением развития отечественного телевидения, что фактически превращает его в

субъекта политических отношений. При этом мы уже не можем дистанцироваться от пропагандистского влияния телевидения, нейтрализовав его эффект простым нажатием кнопки, выключив телевизор по своему желанию. Ведь телевидение на данном этапе преодолевает собственные узко технические рамки: не дожидаясь приглашения, оно шагает нам навстречу, выходит на улицы и площади, охватывая уже не только информационное, но и социальное пространство целиком. БТ преследует нас повсюду, и защититься от этого влияния «уличной медиакратии» все труднее. В итоге нынешняя ситуация вполне предсказуемо развивается по сценарию, предложенному самими телевизионщиками в видеоклипе-римейке песни А. Барыкина «Программа телепередач на завтра», прозвучавшей в новогодней праздничной программе встречи 2006 года на ОНТ. Новый вариант этой песни был представлен как анимационный ролик с участием А. Аверкова и женщин-ведущих новостных программ ОНТ. Сюжет ролика незамысловат и изображает бегство человека, ставшего жертвой избыточного потребления информации (видимо, именно новостной, коль скоро здесь фигурируют дикторы выпусков новостей), от скорой психиатрической помощи и двух могучих санитаров в белых халатах. При этом у потенциального клиента психодиспансера вместо головы нарисован телевизор, в котором параллельно самой погоне идет трансляция песни в исполнении Аверкова, показанного крупным планом, так что на экране виднеется только его голова, служащая в данной ситуации функциональным заместителем головы беглеца. Правда, осталось непонятным, можно ли в таком случае считать этот прием намеком на состояние самого Аверкова, либо он выступает лишь символической проекцией фантазматических образов нашего телевидения в воспаленном сознании массовой аудитории. Но, так или иначе, в видеоклипе все кончилось весьма трагично: беглец в поисках спасения влезает на телевышку, следом за ним карабкаются санитары, но до вершины добирается только человек-телевизор, после чего все благополучно замерзают, покрываясь льдом. Не был ли здесь невзначай прописан сценарий будущей «джинсовой революции», неожиданно столкнувшейся на Октябрьской площади с резким похолоданием в конце марта и предельно холодным (прямо-таки «отмороженным») освещением происходящих событий по местному телевидению? И следует ли нам после этого рассчитывать на «оттепель» в обозримой перспективе? Вопросы пока остаются без ответа.

Примечания

1 Джоуэтт Г. С., О'Доннел В. *Пропаганда и внушение* (реферат К. С. Гаджиева) // В кн.: *Реклама: внушение и манипуляция*. Самара, 2001. С. 191.

2 См.: Плаггенборг Ш. *Революция и культура*. СПб., 2000. Цит. по: Друбек-Мейер Н. *Mass-Message / Массаж масс: советские (масс-)медиа в 30-е годы* // Советское богатство. СПб., 2002. С. 136.

3 Миронов А.С. *Раздувай и властвуй*. М., 2001. С. 121.

4 Московичи С. *Стратегии пропаганды и коллективного внушения* // В кн.: *Реклама: внушение и манипуляция*. Самара, 2001. С. 182.

[5] Аронсон Э., Пратканис Э. *Эпоха пропаганды*. СПб., М., 2002. С. 32.
[6] Барт Р. *Эффект реальности* // Барт Р. *Избранные работы. Семиотика. Поэтика*. М., 1989. С. 400.
[7] Там же.
[8] Друбек-Мейер Н. *Mass-Message / Массаж масс: советские (масс-)медиа в 30-е годы* // Советское богатство. СПб., 2002. С. 128. С. 128.
[9] Цуладзе А. *Большая манипулятивная игра*. М., 2000. С. 58–59
[10] См.: *Безнравственный подход БТ*: http://charter97.org/bel/news/2006/03/22/urody.

КРИТИКА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ ВЫБОРОВ КАК ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Дмитрий Коренко

Введение

Целью данной статься является попытка критического анализа *современной белорусской идеологии выбора*, используемой для проведения псевдодемократических выборов и обеспечения воспроизводства существующей государственной системы без изменений. Подобный критический анализ, на наш взгляд, не может иметь самодостаточной ценности, но должен намечать *эффективные альтернативные формы коммуникации и противодействия официальной идеологии*. Необходимость в альтернативной коммуникации, в свою очередь, диктуется тем фактом, что многие сегодняшние формы критики власти либо чрезмерно политически ангажированы, либо чрезмерно интеллектуализированы, что затрудняет критический разговор по существу на доступном широкому пониманию языке, не переходящему, разумеется, к популизму и профанации идей. В этом смысле данная статья в самой незначительной степени претендует на академический формат, но преследует цель разобраться в некоторых сложных понятиях и проблемах по возможности ясно и просто, так чтобы наметить перспективы осмысленного *альтернативного* (и минимально ангажированного) *политического участия*. Если позволить себе небольшой каламбур, то статья не претендует на открытие Америки в отношении анализа белорусской идеологии, но является попыткой открытия Беларуси для самих же беларусов.

На сегодняшний момент первостепенную важность, на наш взгляд, приобретает проблема *современной официальной белорусской идеологии*, которая является чем-то более сложным, нежели пропаганда, и поэтому не может быть сведена к вопросу умелого использования или монополизации средств массовой информации. Официальная идеология пытается монополизировать *символическое пространство политической борьбы*[1], в котором устанавливаются цели и смыслы конкретных политических баталий (например, избирательных кампаний), не изменяя при этом законодательство как таковое, но идеологизируя такие понятия, как «порядок», «законодательство», «демократия», «народ», «выборы», в результате чего смещаются определенные акценты в функциях избирательных механизмов, позволяющие получить предзаданные результаты при

сохранении видимости игры по общим правилам. Примеры подобной идеологизации, к которым мы обращаемся в данной статье, — телевизионное предвыборное выступление А. Г. Лукашенко, а также раздел «Идеология избирательных кампаний» пособия *Основы идеологии белорусского государства* (проф. Я. Яскевич). Впрочем, мы не склонны чрезмерно преувеличивать вес и значимость общеобязательных курсов в вузах и пособий по идеологии, однако в отношении избирательных кампаний данная идеология описывает, если не обосновывает довольно системно то, что происходит на практике в процессе избирательных кампаний, насколько я могу судить из личного опыта участия в последних президентских выборах в качестве независимого наблюдателя.

Проблема, которая представляется важной, — это отсутствие борьбы в поле белорусской политики за определение целей борьбы, или, если говорить проще, отсутствие *контридеологизации*, без которой надежды на достижение перемен в реальной политической борьбе, на наш взгляд, довольно утопичны.

Как мы постараемся показать, и это является освноным тезисом данной статьи, за вышеуказанными общепринятыми и позитивными терминами («порядок», «выборы», «демократия» и др.), имеющими определенную юридическую силу, в действительности стоит ряд иных идеологий — *идеология порядка, идеология «большинства», идеология закрытого выбора, идеология непринципиальности*, которые относятся не просто к области культурных или моральных вопросов, а имеют самое непосредственное отношение к законодательству и законности, что эффективно используется как для альтернативной политической коммуникации, так и в смысле оказания противо-*действия* даже в рамках существующего правового поля (законодательства).

Выбор идеологий или идеология выбора?

Пожалуй, уместно было бы начать с того, что, по сути, любой выбор в условиях современных демократий идеологичен в том смысле, что выборы — это всегда выборы идеологий, представленных в предвыборных программах и рекламных кампаниях кандидатов или партий. Кто-то больше предпочитает либерально-демократические ценности, кто-то придерживается консервативных взглядов, кто-то борется за сохранение окружающей среды или прав меньшинств. Каждая из этих идеологий, будучи определенной, внутренне согласованной системой идей и ценностей, является, тем не менее, абсолютно объективной и единственно достоверной, поскольку так или иначе отвечает интересам определенной группы людей. Поэтому «свобода выбора», о которой так часто говорят, довольно иллюзорна и ограничена — это, так сказать, лишь *свобода выбора определенной идеологии*. Осмелимся предположить, что, вероятно, именно по этой причине часть (и все большая часть) людей вообще отказываются участвовать в выборах, избегая ангажированности и не поддерживая таким образом никого.

Все вышесказанное, как может показаться, относится и к белорусской ситуации. Однако подобное утверждение, на наш взгляд, глубоко ошибочно, поскольку белорусская ситуация радикально иная: здесь нет даже свободы выбора идеологий. Вместо этого на вполне официальном уровне заявляется и действует *идеология закрытого выбора.*

Идеология закрытого выбора, по нашему мнению, – это такая установка в отношении выбора и выборов, которая игнорирует фундаментальную важность соблюдения принципов. Белорусская идеология закрытого выбора, как нам кажется, реализуется на двух уровнях: 1) на уровне идеологизации самого выбора (например, плакаты из серии «За Беларусь») и 2) на уровне идеологизации выборов, т. е. самой избирательной кампании. Однако если первая форма идеологизации, по существу, допустима и практикуется даже в развитых демократических странах (где считается нормальным, что выборы – это выбор идеологий), то вторая форма идеологизации является чем-то гораздо более серьезным и, на наш взгляд, самым значительным, реальным образом влияет на результаты выборов. Более того, отметим, что в белорусском случае эти два вида идеологии оказываются тесно взаимосвязанными, усиливая действенность друг друга, что и обусловливает необходимость рассмотрения обеих форм. Взаимосвязь, как будет показано ниже, заключается в том, что обе идеологии являются формами *идеологии белорусской государственности,* или, что то же самое, *белорусской идеологии порядка.* Начнем наше рассмотрение с первой формы идеологии – *идеологии закрытого выбора*, которая наиболее полно и красочно отражена в серии биг-бордов (плакатов) «За Беларусь!», установленных в значительном количестве публичных мест г. Минска.

Идеология закрытого выбора: «За Беларусь!»

Оговоримся снова: на наш взгляд, плакаты из серии «За Беларусь!» *сами по себе* не оказывают прямого воздействия на аудиторию и не определяют непосредственно выбор избирателей во время избирательных кампаний, но являются частью более сложного идеологического механизма, который обусловливает *идеологизацию выбора во время избирательной кампании.*

Серия плакатов «За Беларусь», переполненных самыми положительными эмоциями и лозунгами, представляет собой *идеологизацию политического выбора.* Для раскрытия этой идеологичности вовсе не нужно выискивать наиболее слабый/сильный плакат, для того чтобы поглумиться над его содержанием. Все плакаты до одного, включая «За счастливую Беларусь», идеологичны. Почему и какую идеологию они выражают?

Идеология, которую выражает данная серия биг-бордов («За Беларусь», «За счастливую Беларусь», «Беларусь ЗА стабильность!»), может быть охарактеризована как *идеология закрытого выбора,* или, другими словами, *идеология определенного/конкретного выбора.*[2] За-

метим, что нашей целью здесь не является выдумывание понятий и ярлыков («закрытый выбор»), которые объясняли бы проблему только самим своим названием. В каком смысле данный выбор является закрытым и в чем его возможная опасность (или, возможно, даже преимущество)?

Закрытость подобного выбора обусловлена в первую очередь тем фактом, что это крайне определенный, конкретный выбор. Формально конкретика проявляется преимущественно в двух аспектах: а) утверждение четко ограниченной и всем понятной рамки (рамка «Беларуси»); б) утверждение максимально конкретных и позитивных понятий («стабильность», «независимость», «процветание», «счастье», «талантливость»). Вдобавок к этой формальной конкретике необходимо прибавить мощный эмоциональный аспект, который стоит за всеми понятиями. Например, быть «За Беларусь» содержит сильный патриотический посыл. Впрочем, вся эта игра чувств довольно понятна, и, используя понятие «закрытого выбора», мы не отрицаем важности этих чувств. Проблема, которую мы хотим обозначить с помощью данного понятия, заключается в другом.

Проблема заключается в том, что *ни один* из этих плакатов серии «За Беларусь» и «Беларусь за…» не содержит обращения к каким бы то ни было *универсальным* (всеобщим или даже просто общественным) *принципам* и *идеалам*, например: «за свободу», «за справедливость», «за равенство», «за солидарность» и т. д. Подобные принципы, как известно, на практике недостижимы, но именно о них постоянно говорят в связи с демократией. Действительно, стоит задуматься: не является ли тогда вся демократия абсолютной идеологией – призывом людей к тому, что *в принципе* недостижимо? Более того, не будет ли тогда более логичным, более правильным и антиидеологичным призывать людей к чему-то более конкретному и достижимому – например, быть за Беларусь, быть за стабильность и т. д.?[3] Пусть Беларусь будет просто сильной, независимой и процветающей. Зачем нужны еще какие-то принципы? Зачем их отдельно отстаивать – ведь это все равно абстракции и идеалы? Что такого ужасного может произойти, если мы вообще откажемся от принципов в пользу «процветания Беларуси»? Это крайне важные, на наш взгляд вопросы, на которые мы постараемся дать максимально четкие и ясные ответы

Итак, мы утверждаем, что именно подобная конкретность выбора («За Беларусь!», «За стабильность» и т. д.), как ни странно, и является идеологизацией выбора, а не освобождением от идеологии. Идеологизация заключается в том, что тот порядок вещей, за который нам предлагают выступать («за стабильность», «независимость», «процветание» и т. д.), абсолютизируется как принцип и, более того, согласно современной белорусской идеологии, *вообще не предполагает никаких других принципов*, на которых должно основываться современное белорусское общество и государство. Ниже мы попытается критически рассмотреть три вида логически возможных (и давно ставших реальными, однако, думается, в разной степени для разных

категорий людей) последствий, которые, на наш взгляд, прямым образом вытекают из официальной идеологии закрытого выбора.

Абсолютизация позитивного порядка

В случае лозунга «За стабильность», к примеру, идеологичность заключается не в ложности самой стабильности или возможности/невозможности стабильности в обществе, а в том, что стабильность выдается *за принцип*, т. е. абсолютизируется (как абсолютная стабильность). В отличие от подлинных принципов (например, принципа равенства), которые имеют лишь абсолютную степень, «стабильность» означает определенное состояние, которое может быть относительно (более или менее) стабильным и поэтому не может быть принципом. Важно также понимать, что есть существенное различие: одно дело – проводить реальную социально-экономическую политику, направленную на поддержание определенного баланса, стабильности в обществе, и совсем другое дело – призывать *за* стабильность и возводить стабильность, процветание во всеобщий принцип. Именно это «ЗА» (когда «ЗА» появляется в качестве официального общественного призыва, а не личного выбора или реальной политики) и означает абсолютизацию понятий, состояний как принципов. Чем, опять-таки, опасна абсолютизация даже просто в логическом смысле?

Абсолютизация означает, что то или иное понятие/состояние начинает мыслиться в категориях бесконечности и, таким образом, достигает своей логической крайности! Поэтому крайности – это не результат чьих-то ошибок во время реализации (исполнения) абсолютизированных идей (понятий), а самым закономерным образом логически вытекающие следствия абсолютизации понятий. Проще говоря, в случае со стабильностью оборотная сторона, крайность, прямо вытекающая из абсолютизации, заключается в абсолютном исключении движения и динамики, образно говоря – в исключении жизни. Данный момент, на наш взгляд, (интуитивно?) грамотно визуализирован в одном из сатирических альтернативных плакатов, размещенных в интернете, где фоном к лозунгу «за стабильность» выбрано кладбище[4].

Проблема эффективности подобной критики, однако, заключается в том, что образность подобных карикатур, весьма ярких и оригинальных, здесь является одновременно и преимуществом и недостатком. Недостаток проявляется в том, что критические образы начинают восприниматься именно как образность, метафора, как условность, исключение, случайное отклонение, не нарушающее общего правила. Другими словами, они лишь на интуитивном уровне дают почувствовать официальную идеологию выбора, но не могут аргументированно и системно показать, в чем заключается принцип подобной идеологии и как это создает *идеологию закрытого выбора* в целом. Эффективная стратегия критики подобных абсолютизаций, на наш взгляд, заключается в указании сторонникам «за стабильность» на тот факт, что крайности *неразрывным образом* связаны с абсолютизированными понятиями! При этом желательно найти наиболее остро

воспринимаемые крайности в данном обществе: кладбище в этом смысле является оригинальным, но недостаточно контекстуализированным примером.

Самоизоляция общества

Другая возможная опасность – *изоляция общества* как от самого себя, так и от других (демократических) обществ. Гордость за страну (патриотизм), стремление к развитию потенциала своей страны и процветанию своего общества *в отсутствие выраженной установки на какие-либо принципы и их реальное соблюдение*[5] в действительности являются формой самоизоляции общества от других со-обществ, которые организуют существование, воспроизводство и взаимодействие на основе принципов. Подчеркнем, что изолированность (закрытость) скорее проходит по линии общества, нежели государства. Кроме того, нам представляется, что политическая изолированность государства не связана прямым образом с изолированностью общества. Иначе говоря, формально государство поддерживает отношения с другими государствами, но само общество остается изолированным/закрытым.

Принципиальная невозможность смены порядка

Третья возможная опасность подобной идеологизации заключается в том, что социальный и политический порядок, который не основывается на (универсальных) принципах, делает, прошу прощения за тавтологию, принципиально невозможным иной/новый демократический порядок. Это обусловлено тем, что демократический способ смены политического порядка (власти), как будет показано ниже, возможен только в условиях, когда принципам отводится первостепенная важность и обеспечиваются реальные механизмы их соблюдения. Проще говоря, **только *установка* на важность соблюдения принципов и реальные механизмы соблюдения этих принципов делают борьбу за власть демократической и открытой, т. е. доступной для всех сторон (включая самих же избирателей)**. Забегая вперед, скажем, что соблюдение принципов и создает возможность свободы в рамках порядка. В противном случае открытая борьба за власть попросту невозможна, и порядок всегда будет определяться закрытым источником власти. Где же находится этот закрытый источник власти в белорусском случае?

Ответ опять же лежит на поверхности. В данном случае – на поверхности плакатов из серии «За Беларусь». Если внимательнее присмотреться к этим плакатам, то становится понятно, что «Беларусь» употребляется в двух взаимодополняющих смыслах: Беларусь как государство и Беларусь как страна (общество). Такие определения, как «сильная», «независимая», «стабильная», скорее относятся к Беларуси-государству, тогда как «счастливая», «процветающая», «талантливая», «самобытная» – к Беларуси-стране (обществу). Заметим, что власти крайне выгодна эта двусмысленность Беларуси как

страны и как государства, поскольку она позволяет совместить две, по сути, конфликтные группы интересов.

В случае с Беларусью-страной/обществом, как мы уже отметили, нет ни малейших признаков того, что *в обществе* происходит открытая борьба за власть, поскольку единственное условие, при котором общество участвует в подобной борьбе, – это наличие *общих, как для государства, так и для общества,* принципов. Именно об этих общих принципах и предпочитает не упоминать официальная идеология. Какие принципы можно найти на плакатах «За Беларусь» или услышать в официальных заявлениях представителей белорусской власти?

Показательно, что в случае плакатов с «Беларусью-государством» также не содержится указаний на то, что власть должна быть только у государства, вместо этого используются косвенные признаки – «сильная, стабильная, независимая Беларусь». О необходимости власти для государства не говорится напрямую по той простой причине, что *власть и так уже находится* под контролем государства. Задачей идеологии является, таким образом, заставить забыть о том, что власть как раз изначально принадлежит всем, точнее народу[6], а еще точнее обществу[7], т. е. каждому гражданину. Смысл плакатов заключается в том, чтобы представить Беларусь-государство в качестве единственного источника реальной власти и порядка и, замалчивая важность общественных принципов, придать борьбе за власть *закрытый и изолированный от обществ*а характер.

Здесь вполне уместно следующее возражение: плакаты, возможно, и создают *идеологию закрытой борьбы за власть*, но ведь фактически в стране регулярно проводятся выборы – значит, борьба за власть все-таки «открыта», а не «закрыта». Возможность побороться за власть все-таки имеется. И это уже проблема кандидатов, насколько широкую поддержку они смогут получить. Вот если бы выборов не было совсем, тогда можно было бы говорить, что борьба за власть является закрытой.

Действительно, как отмечалось вначале, мы не утверждаем, будто бы идеология, выраженная плакатами «За Беларусь», является единственным и достаточным фактором, который определяет выбор избирателей. Идеология закрытого выбора, представленная на плакатах, содержит лишь *возможную опасность*, она только, если прибегнуть к метафоре, подготавливает почву для закрытой борьбы. Наше дальнейшее утверждение таково: *борьба за власть может иметь закрытый характер и в условиях проведения выборов.* Условием этого является то, что сами выборы должны проходить в условиях идеологии закрытых выборов. *Закрытость выборов, в свою очередь, обеспечивается идеологизацией внутренних избирательных механизмов*, которые будут рассмотрены более подробно в следующем разделе.

В заключение хотелось бы попытаться кратко представить основную мысль раздела в виде варианта следующего диалога (и модели альтер-

нативной политической коммуникации) с воображаемым сторонником «За Беларусь»:

– Скажите, ваш выбор – за Беларусь? (*Или*: Скажите, вы – за Беларусь?)

– Да, конечно!

– Но ведь это вообще не политический выбор![8] Политический выбор – это выбор принципов, на которых должно основываться общество (государство). За какие (общественные/политические) принципы для Беларуси вы выступаете?

– Ну, за стабильность.

– Но стабильность – это не принцип, а состояние! (Тем более вы его абсолютизируете.) Давайте тогда будем выступать еще и «За любовь!» или «За высокую демографию!». За какие *принципы* для Беларуси вы выступаете?

– Ну, я не знаю... (И действительно: а какие принципы предлагает нам власть?)

Итак, **«ЗА (общие) принципы!»**

Закрытые выборы как идеология порядка

Об *идеологической закрытости* выбора в белорусском случае можно также говорить и в другом смысле, а именно в смысле идеологической закрытости *выборов* – самой избирательной кампании. Закрытость здесь не означает буквальную закрытость избирательных участков для голосования или лишения определенных категорий населения права голоса. Идеологическая закрытость выборов обеспечивается благодаря другой, вполне официальной, идеологии – *идеологии порядка. Суть идеологии порядка в отношении выборов заключается в том, что процесс выборов – этот решающий этап в жизни общества – представляется всего лишь как элемент общего целого, как элемент системы, как часть общего порядка.* Проведение выборов, следовательно, сводится официальной идеологией лишь к *процедуре* в рамках порядка, к правилам и инструкциям в рамках законодательства. Подкрепим наш тезис следующими примерами

Первый пример взят нами из предвыборной речи бывшего кандидата в президенты А. Г. Лукашенко, который заверял нас в надежности выборов следующим образом: «Как глава государства гарантирую, что выборы пройдут в полном соответствии с нашим законодательством. Они будут не менее честными и открытыми, чем в любых других странах, которые нам ставят в пример».[9]

Второй пример взят из раздела «Идеология избирательных кампаний»[10], где основная информация, относящаяся к организационному аспекту избирательных кампаний, сводится к описанию простого механизма: «проведение выборов *обеспечивается* государственными структурами – избирательными комиссиями, органами власти, судами, ответственными за создание организационно-правовой инфраструктуры избирательной кампании» (с. 121), – которое сопро-

вождается отсылкой к избирательному кодексу РБ для желающих ознакомиться более подробно с тонкостями избирательного процесса. Однако обо всех других — равноправных — участниках избирательной кампании — командах кандидатов, местных и международных наблюдателях[11], прессе и публичности — нет ни одного слова!

Главное, однако, заключается в том, что в обоих примерах, представляющих официальную точку зрения, нет ни малейшего упоминания о *принципах*, согласно которым должны проводиться выборы. *В действительности, для того чтобы выборы были честными и открытыми (и демократическими), они должны проводиться в соответствии с принципами и только с ними*, а не в соответствии с установленным порядком (законодательством), о чем должно быть прямо и недвусмысленно заявлено.

Неправильной и идеологической поэтому является сама попытка гарантии честности и открытости выборов путем сравнения «честности и открытости выборов» в Беларуси с выборами в других демократических странах. Для того чтобы выборы были «честными и открытыми», равняться в данном случае надо не на порядки в других странах и не на законодательство, а в первую очередь на *принципы*, поскольку само законодательство основано на принципах (в первую очередь на *принципе равенства в обществе*). Принципы универсальны и предполагают равную доступность, тогда как законодательство (порядок) — всегда свое, местное, и легко может монополизироваться определенными структурами. Принципы не могут быть относительными (ведь принцип относительности, например, не означает относительности самого принципа), а вот порядки (и законодательства) — всегда относительны и несовершенны, поэтому их можно и даже удобно сравнивать.

Открытость выборов означает установку на соблюдение принципов, а не законодательства, поэтому открытость, о которой говорит А. Г. Лукашенко в процитированном отрывке, в том числе и «открытость для сотрудничества», означает нечто другое, не имеющее никакого отношения к открытости выборов. Именно это *отсутствие намерения, отсутствие установок,* не говоря уже о реальных механизмах, *соблюдать какие-либо принципы* и позволяет нам говорить *об идеологии порядка как идеологии «правильных» выборов* (или, по-другому, *идеологии непринципиальности* в отношении проведения выборов).

Почему же так важна ориентация на принципы и к каким последствиям ведет уклонение от проведения открытых выборов? Другими словами, в чем *реальная опасность* (в противоположность *возможным опасностям* идеологии закрытого выбора, о которых шла речь в предыдущем разделе) идеологии «правильных» выборов?

Важность *установки на принципы* определяется тем, что принципы являются универсальными категориями, и поэтому по определению никто не может монополизировать над ними власть. Именно эта ориентация на соблюдение принципов придает борьбе за власть открытый

характер, причем проверка/контроль соблюдения принципов доступна даже самим избирателям (например, избиратели имеют право участия в выборах в качестве независимых наблюдателей), так что, по сути, борьба за власть открыта для всех участвующих сторон, в том числе, если не прежде всего, для самих же избирателей. В этом и заключается смысл открытости выборов.

Если же выборы проводятся в соответствии с установкой на порядок (законодательство), как об этом заявлял бывший кандидат в президенты А. Г. Лукашенко, то вполне естественно, что контроль над выборами получает *тот и только тот*, кто обеспечивает сам порядок. А в белорусском случае, как подсказывает профессор Яскевич в процитированном выше отрывке, это государство и государственные структуры, что и обусловливает закрытость выбора на практике.

Мы хотим подчеркнуть, что тонкость и неопределенность ситуации в условиях *идеологии порядка в отношении выборов* заключается в том, что выборы не являются *ни открытыми, ни, что также важно, закрытыми*. В выборах по-прежнему можно участвовать и голосовать. Однако в нашем случае это промежуточное состояние между открытостью и закрытостью выборов, наверное, и можно лучшим образом охарактеризовать как «правильное», т. е. как следование правилам и распорядку, где каждый занят *своим* делом, где у каждого есть определенная работа, а именно: члены избирательных комиссий выдают избирателям бюллетени, наблюдатели (если они есть) наблюдают, милиция охраняет, избиратели приходят, голосуют и уходят. Нельзя сказать, что здесь вообще не соблюдаются принципы (чаще всего, кстати, их не соблюдают сами же избиратели, точнее, они имеют о них весьма смутное представление, особенно те, кто голосует впервые), просто дело совсем не в них. Здесь каждая сторона вполне добросовестно выполняет *свою часть работы, предписанную порядком*, забывая об *общем и главном смысле* действий каждой стороны, выполняющей свою работу. Проблема заключается только в том, что *вопрос соблюдения всех необходимых принципов является второстепенным* по отношению к главному действию – заполнению избирателями бюллетеней, выбору кандидата и объявлению окончательного результата (как будто выборы – это игра в футбол или лотерея). В результате возникает идеологизированное разделение труда[12] участников избирательного процесса, производящее лишь иллюзию подобия демократическим выборам, но в действительности устанавливающее такие (закрытые) правила игры, которые ведут лишь к предзаданному результату.

Если все же попытаться провести аналогию между белорусскими выборами и футболом, то основная проблема заключается не в том, что судья подсуживает одной из команд, а в том, что судья, не объясняя правил, объявляет начало игры, в которой с определенным перевесом выигрывает одна из команд. Однако в конце игры, после ухода зрителей, судья объявляет игрокам, что это была игра в ирландский футбол, поэтому дополнительно засчитываются все те мячи, которые

пролетали над воротами, что еще больше увеличивает отрыв в счете. В новостях же сообщается, что изначально это была игра в ирландский футбол и объявляется ее результат. Во что будут играть футболисты и какую игру будут смотреть зрители в следующий раз?

Можно, таким образом, сказать, что в условиях официальной белорусской идеологии порядка/процедурности все мы, кто принял участие в голосовании, сделали «правильный» выбор, но не в смысле выбора «правильного» кандидата, а в том смысле, что наш выбор был совершен в рамках определенных законодательством *правил*, *процедур* и *порядка*, а не в условиях соблюдения принципов, причем официально даже не была озвучена установка на соблюдение принципов. Чего же еще хотеть от представителей соответствующих государственных структур, а также от избирателей, если главное лицо страны не считает *вопрос соблюдения принципов* первостепенным и вообще обходит его вниманием?

И все же:

«За **открытые** выборы!»

Демократические выборы – «власть народа» или принцип большинства?

Развивая соображения, высказанные в предыдущей части, мы попытаемся показать, что *демократичность выборов* и *волеизъявление большинства населения* – это никак не связанные между собой понятия. Мы утверждаем, что в силу того факта, что в выборах приняло участие 90 или даже 100% населения, из которых пусть даже те же 90 или 100% проголосовали за одного из кандидатов, выборы еще не могут считаться демократическими. Более того, если нарушено одно важное условие, то результаты выборов вообще ничего не означают. Значение их может быть в таком случае только *идеологическим*, но не *демократическим*. Мы также уточним, в чем заключается важность *демократического смысла выборов*.

Данное утверждение как бы противоречит здравому смыслу, согласно которому чем больше проголосовало людей, тем более демократичными являются выборы. Поскольку считается, что выборы и референдум – это форма непосредственной демократии, т. е. когда каждому, в соответствии с древнегреческой моделью всеобщего участия, предоставляется возможность выразить свое мнение относительно того, какой должна быть власть. Именно сам момент всеобщего избрания власти и позволяет, как кажется, говорить о демократии как власти народа, как власти, выбранной народом. Впрочем, все при этом прекрасно понимают, что окончательный результат выборов и назначение конкретной власти определяется тем, за кого проголосует *большинство*, поскольку всем не угодишь, а двух кандидатов нельзя выбрать. Главное условие демократичности выборов заключается в

том, чтобы у каждого полноправного человека страны (зарегистрированного избирателя) была возможность проголосовать, т. е. чтобы никто не отнимал у человека право голоса.

В противоположность подобной логике рассуждения, связывающей демократию и большинство, наш тезис звучит так: *демократия (демократические выборы) – это не власть большинства. Демократия – власть (на основании)* ***принципа*** *большинства.*

Разница этих определений не просто формальная, но фундаментальная. Именно в интересах современной белорусской идеологии (да, вероятно, любой другой авторитарной идеологии) приучить людей к простой формуле демократии: выбирает каждый, но выигрывает тот, за кого отдаст свой голос большинство, – такова объективная необходимость. До тех пор пока есть очевидное большинство (как говорится, 83 из 93% никуда не спрячешь, т. е. даже если эта цифра и преувеличена, то ненамного, и мы все равно продолжаем верить в существование большинства), вопрос о принципе большинства рассматривается задним числом. Иначе говоря, можно в буквальном смысле сказать, что то, каким образом получается «большинство», для многих людей абсолютно непринципиально в сравнении с *фактом* большинства (какая разница, говорим мы, если за некоего X все равно большинство). *Принципиальность*, однако, играет в демократических выборах ключевую роль.

Принцип большинства – это всего лишь один из ряда принципов (принцип тайны голосования, принцип прозрачности процедуры подсчета, принцип равенства), соблюдение которых в совокупности и выражает *демократичность выборов*. Именно соблюдение всех этих принципов *в момент выборов* и является проверкой общества на демократичность. *Если все необходимые принципы действительно соблюдены, то уже неважно, за кого проголосовало большинство*, поскольку все остальные (иногда этот «остаток» в совокупности также может быть большинством, но, конечно, не в белорусском случае) получают *реальную гарантию (а не обещания о гарантии)* защиты своих прав в дальнейшем после победы «большинства». Принцип большинства, таким образом, ни в коем случае не должен нарушать самый фундаментальный принцип – *принцип равенства* («большинство» = «меньшинству», 99%=1 – такова краткая формула демократии).

Если же принципы не соблюдаются, или, как в белорусском случае, ***изначальная установка на принципы игнорируется уже на официальном уровне*****, то мы получаем диктат или идеологию «большинства»[13] над «меньшинством» под видом демократии. Краткая формула подобной идеологии такова: 83% > 9%, тогда как реальное соотношение: 83%=0.**

Нетрудно сделать вывод, что именно последний вариант – диктатуру идеологического «большинства», а не диктатуру определенной личности, диктатора, – мы и имеем сегодня в Беларуси. Данный вывод представляется нам довольно важным, поскольку уж слишком часто ярлыки «диктатура» и «диктатор» навешиваются на белорусскую

политическую систему оппозицией и воспроизводятся в упрощенной форме в западных медиа. Сложность белорусской ситуации состоит в том, что «диктатура» здесь получается (формально) демократическим способом: формальным наличием всех демократических процедур и стандартов, а прежде всего — наличием самой системы выборов.[14]

Проблема, таким образом, заключается в том, что изнутри ситуация для многих белорусов выглядит *относительно* демократической (т. е. есть формальные атрибуты, но что, возможно, важнее, есть целостная *система* и *желание* быть демократией), и, более того, именно *относительно* демократической представляют белорусские СМИ ситуацию в других западных странах, тогда как с точки зрения западных стран и западных ценностей ситуация в Беларуси выглядит *абсолютно* недемократической и безоговорочно определяется как диктатура.[15] Первоочередная проблема, однако, заключается в том, что в Беларуси, благодаря работе официальной идеологии и отсутствию эффективной контридеологии, нет понимания или осознания того, что *относительной демократии как принципа не бывает*. **Принципы, *если они вообще есть*, не могут быть относительными: они либо соблюдаются, либо нет**. Если же принципов нет, то в действительности проигрывают все — *и «большинство»[16] и «меньшинство»*, за исключением тех, кто определяет правила игры.

«За **принцип** большинства!»

Заключение

В заключение хотелось бы в краткой форме затронуть еще один важный вопрос, связанный с идеей демократии и белорусской идеологией порядка. В общих чертах — это вопрос *соотношения свободы и порядка*. На сегодняшний момент, как нам представляется, данные понятия маркируют противоположные позиции: идеология «свободы» (новой) оппозиции против идеологии «порядка» официальной власти. Напряжение между данными понятиями и позициями заключается в том, что, с одной стороны, власть представляет *свободу как беспорядок* и, в конечном счете, анархию и беспредел, тогда как оппозиция представляет *порядок как «режим», «диктатуру», «тоталитаризм»*. Думается, что подобное противопоставление понятий не совсем точно и ставит проблему выбора слишком радикально — как выбор между порядком и свободой («или порядок, или свобода»), вынуждая политически активную часть населения занимать (или не занимать вообще) лишь крайние позиции и сужая пространство для альтернативных (оп)позиций. Для разработки *альтернативной политической коммуникации*, на наш взгляд, необходимо предложить такое понимание *свободы*, которое не только не противоречит идее порядка, но скорее поддерживает и усиливает ее. В свете вышесказанного о важности установки соблюдения принципов в рамках демократии представляется возможным предложить следующее определение (политической)

свободы: **свобода – это порядок**, *основанный на принципах* (прежде всего, на принципе равенства). Исходя из этого, определенное оправдание получает протест *против нарушения принципов выбора*, а не протест против результатов выборов как таковых (как это интерпретировал в своем выступлении бывший кандидат в президенты А. Г. Лукашенко[17]), поскольку протест против нарушения принципов является формой восстановления порядка, а не формой беспорядка.

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы заметить, что, возможно, кому-то покажется, что представленные в тексте рассуждения можно свести к одному – к оправданию оппозиционных протестов и призыву к участию в новых протестах, поскольку государство систематически нарушает принципы. Наша позиция – позиция *альтернативной политической коммуникации* – все же иная. *Ответа и противодействия требуют официальная идеология выбора, идеология порядка и идеология «большинства», суть которых заключается не в непосредственном нарушении принципов, а, скорее, в игнорировании их, замалчивании важности или сведении принципов к процедурам, максимально добросовестно выполняемым государственными органами.* Более того, необходимо осознавать, что сопротивление системе порядка лишь усиливает идеологию порядка. Выигрыш власти обеспечивается, вплоть до сегодняшнего момента, не столько широтой поддержки («народностью»), а тем, что она продолжает играть по своим собственным правилам, делая, однако, вид при помощи различных идеологических механизмов, что играет по общим (демократическим) правилам.

Кроме того, в наших критических рассуждениях мы далеки от идеализации выбора в пользу принципиальности и полного отказа от «закрытого» выбора (в вышеуказанном смысле идеологии самого выбора, но не идеологизации избирательной кампании) в рамках *альтернативной политической коммуникации*. Неизбежным и необходимым компромиссом, на наш взгляд, является *поиск оптимального соотношения между универсальными принципами и адекватными контексту конкретными предложениями*. Разумеется, что вопросом, не имеющим заранее определенного теоретического ответа, является вопрос о том, что такое «оптимальное соотношение» и «адекватность контексту». Для поиска ответов на эти вопросы и необходима, на наш взгляд, альтернативная политическая коммуникация, нацеленная в белорусском контексте, в первую очередь, на деидеологизацию выбора и выборов.

Примечания

1 Под символическим пространством борьбы имеется в виду то, что П. Бурдье говорит о борьбе в поле науки, впрочем, это работает и в любом другом поле, особенно в поле политики: «определение целей борьбы является целью борьбы» (см.: Бурдье П. *Поле науки* // В кн.: *Социоанализ Пьера Бурдье*. СПб.: Алетейя, 2001). В политике целью борьбы является борьба за власть, но это также означает и борьбу за определение того, что такое власть. С помощью идеологии власть и пытается вести подобную борьбу за определение власти, которая, на наш взгляд, до сих пор никем серьезно не оспаривается.

2 Логика определения «закрытого выбора» как партикулярного, т. е. конкретного/определенного выбора частично основывается на проблематике соотношения частного и общего и рассуждениях С. Жижека о значении пустых означающих в политике (Zizek S. *Prospects of the Radical Politics Today.* In: O. Enwezor et all (ed.) *Democracy Unrelized. Docomenta11_platform1.* Hatje Cantz Publishers, 2002. P. 67–86) и тезисе Я. Торфинга о том, что «метафизические иерархии, которые ставят в привилегированное положение универсальное или частичное, обнаруживают себя как политические или идеологические попытки фиксации неразрешимой игры между универсальным и частичным» (см.: Torfing J. *New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe, Zizek.* Blackwell, 1996. P. 168). Однако в данной статье мы пытаемся показать, что в отличие от многих западных постструктуралистских теорий, критикующих универсализм, в белорусском случае подобного универсализма как раз таки не хватает, впрочем, до определенной степени, а не взамен партикуляризма.

3 Конкретика, как известно, всегда имеет в глазах избирателей бо́льшую ценность, нежели абстрактные идеалы и принципы. Именно от того, насколько конкретна программа определенного кандидата, за *что конкретно* он/она выступает и *какими конкретно* методами собирается достичь своих целей, во многом зависит предпочтение избирателей. Именно этот язык конкретики, стоит признать, является коньком белорусской власти (от указания конкретных размеров средних зарплат к конкретным срокам до конкретики идей в отношении развития общества и государства), и этому языку, по нашему мнению, вообще-то следует поучиться для разработки эффективной альтернативной (оппозиционной) политической коммуникации, впрочем не копируя его и не ограничиваясь им.

4 Данный пример можно было бы развить и дальше – показать египетские пирамиды в пустыне и мумии фараонов, что содержало бы дополнительную отсылку к правителям сравниваемых обществ.

5 Следует, пожалуй, признать, что один принцип, которому часто придается статус значимого, по крайней мере в рамках международных отношений, в Беларуси все же есть – это «принцип взаимовыгодного сотрудничества», что, на наш взгляд, тесно сближается с понятием «национального интереса». Однако кто же решает и каким образом обсуждается то, что соответствует «национальному интересу», а что нет? Думается, что прерогатива определения того, что соответствует «национальному интересу», по-прежнему принадлежит государству, закрывающему/изолирующему таким образом общество от самого себя, от возможности решения белорусским обществом (образовательной средой, системой здравоохранения, культурными институциями и др.) собственно того, что же обществу действительно *необходимо и выгодно*.

6 Данное утверждение, на первый взгляд, противоречит тому факту, что власть любит обращаться к «народу». В действительности противоречия нет, поскольку «народ», к которому обращается власть, – это лишь идеологическое «большинство», тогда как власть принадлежит каждому, и в том числе «меньшинству», имеющему абсолютно равные права с «большинством». Именно проблему «меньшинства» власть пытается систематически и идеологически игнорировать. Собственно, этой проблеме посвящены следующие разделы статьи.

7 Мы предпочитаем использование понятия «общество», поскольку понятие «народа» уж слишком чрезмерно отягощено идеологическими смыслами как официальной риторикой, так и оппозиционной. Для *альтернативной политической коммуникации* вообще, на наш взгляд, необходимо отказаться от использования категории «(белорусский) народ».

8 Следует, конечно, признать, что истинность определения: «Политический выбор – это выбор принципов» – в действительности спорна. Вводя подобное определение, мы, во-первых, хотим ввести саму проблему выбора как политического выбора и, во-вторых, заставить собеседника (оппонента) реагировать в соответствии с рамкой заданного определения политического выбора. Важной здесь является риторическая убедительность определения – краткое, осмысленное и

содержащее налет научности/философичности. Однако использующий подобную тактику должен все же продумать и дополнительные аргументы в пользу данного определения или найти другие способы, чтобы поставить перед собеседником проблему выбора и принципов.

9 См.: *Телеобращение А. Г. Лукашенко от 17.03.2006*: http://president.gov.by/press10319.html.

10 Яскевич Я. С. *Основы идеологии Белорусского государства*. Мн.: ТетраСистемс, 2004.

11 Следует, конечно, честно признать, что в процитированной выше предвыборной речи А. Г. Лукашенко уделяет внимание местным и международным избирателям, но странной и неясной является формулировка их деятельности: «Уважаемые наши гости! Вам созданы все необходимые условия для работы (какой работы? – *Д. К.*). Вы видите, что мы открыты для конструктивного сотрудничества. Единственная просьба – не превышайте своих полномочий! Наблюдайте (за чем? – *Д. К.*), делайте выводы. Но не решайте за нас!» То, за чем же именно наблюдают наблюдатели и с какой целью, так и остается загадкой для зрителя/читателя.

12 Здесь также можно было бы говорить об идеологическом разделении социального видения: то, что видно центральной избирательной комиссии, не видно всем участковым комиссиям; то, что видно участковым комиссиям, едва заметно для наблюдателей; то, что видно наблюдателям, не видно избирателям, поскольку последние предпочитают увидеть результат на экране, нежели на своем собственном избирательном участке. По крайней мере, таков личный опыт независимого наблюдения на последних выборах автора данной статьи.

13 «Большинства», которое получается исключительно путем не-принципиальной («правильной») процедуры выборов, а не того большинства, о котором часто говорится как об «электорате».

14 Например, А. Г. Лукашенко относит к показателям демократии численность кандидатов: «Тот факт, что в нынешней избирательной кампании участвуют четыре кандидата, – это тоже показатель демократии в стране. Другое дело, что некоторым из нас еще надо учиться политической культуре». (См.: *Телеобращение А. Г. Лукашенко от 17.03.2006*: http://president.gov.by/press10319.html.)

15 Впрочем, мы не склонны к тому, чтобы принимать данную позицию Запада некритически. Ведь всегда можно задаться вопросом: не является ли «диктатура» в Беларуси поводом для того, чтобы избежать разговора о внутренних проблемах демократии на Западе? Важно, однако, при подобной (альтернативной) критике Запада все же не усиливать идеологическую критику, которой занимается белорусская пропаганда.

16 Действительно, у «большинства» поводов быть уверенным в том, что власть будет отстаивать его интересы/права, не больше, чем у «меньшинства». В этом отсутствии реальных гарантий для всех нам видится возможность придания критике официальной власти общезначимого характера, а не замыкающей и изолирующей критики с позиции «меньшинства» для самого же «меньшинства».

17 Ср.: «Отдельно должен сказать о соблюдении общественного порядка. Некоторые из кандидатов настойчиво призывают людей выйти на улицы, если результаты голосования не будут в их пользу. Так в этом понимание демократии? Беспорядки, погромы, насилие…» (см.: *Телеобращение А. Г. Лукашенко от 17.03.2006*: http://president.gov.by/press10319.html).

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Серия
«Новые перспективы
в социальной и политической мысли»



Фурс В. *Социальная философия в непопулярном изложении.* Вильнюс: ЕГУ, 2006. 184 с.

В книге рассматривается вопрос о продуктивности социальной философии, понимаемой не как одна из частных областей философского знания, а как результат «социализации» самого философствования. Потенциал социальной философии «в нетривиальном смысле» раскрывается посредством анализа формирования и эволюции коммуникативной парадигмы в современной критической теории — влиятельного течения 1980–90-х гг. Книга адресована как специалистам, так и широкому кругу интересующихся новейшими тенденциями развития и актуальным состоянием философской и социально-политической мысли.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Серия «Conditio Humana»



Мерло-Понти М. *Видимое и невидимое.* Пер. с фр. О. Н. Шпарага. Мн.: Логвинов, 2006. 400 с.

Первый перевод на русский язык одной из центральных работ крупнейшего французского феноменолога Мориса Мерло-Понти (1908–1961). «Видимое и невидимое» представляет существенно новый этап в его творчестве, который характеризуется выходом за рамки гуссерлевской феноменологии, с ее анализом интенциональных отношений, и разработкой «новой онтологии», претендующей на окончательное преодоление фундаментальных категориальных оппозиций классической философии: субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, видимого и невидимого. Новая онтология разворачивается как онтология плоти, как тематизация дикого бытия, которая в методологическом плане требует диалектического мышления, способного удерживать взаимопереплетение воспринимающего и воспринимаемого. Став, бесспорно, революционным словом в феноменологии, работа оказала также значительное влияние на представителей других философских течений: герменевтики, структурализма и постструктурализма.